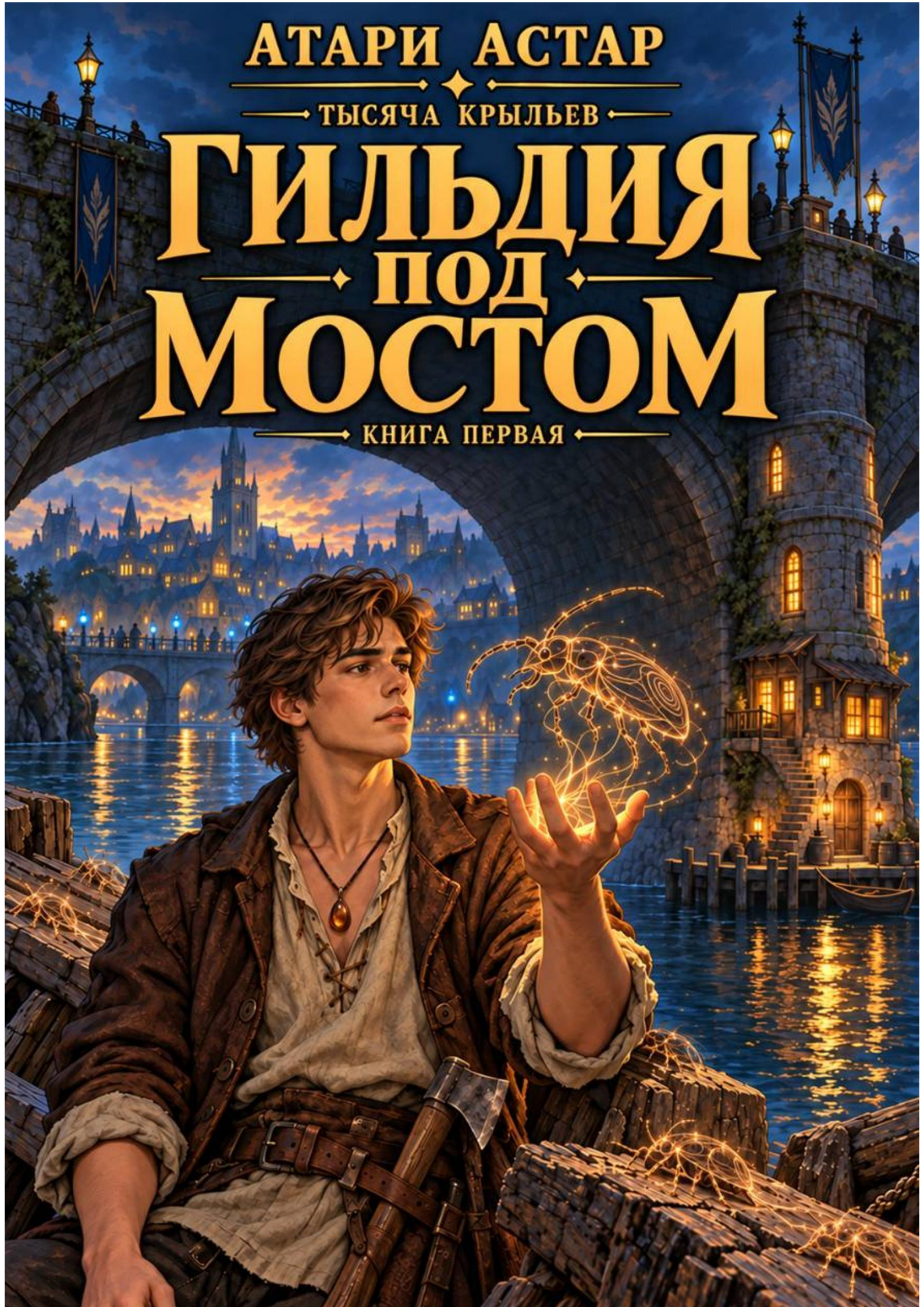


АТАРИ АСТАР

— ТЫСЯЧА КРЫЛЬЕВ —

ГИЛЬДИЯ ПОД МОСТОМ

— КНИГА ПЕРВАЯ —



Атари Астар

Гильдия под мостом

«Тайниковский»

2026

Астар А.

Гильдия под мостом / А. Астар — «Тайниковский», 2026

Один из сорока получает Искру. Ещё реже рождается настоящий маг. Тэйну повезло. По крайней мере, так казалось первые несколько секунд. Он — приёмный сын лесоруба из глухой деревни. Восемнадцать лет Тэйн рубил лес, считал каждую монету и мечтал лишь об одном: чтобы магический Камень признал его и он смог вытащить семью из бедности. И Камень вспыхнул так ярко, что от него отшатнулся весь зал. Вот только вместо огня, молнии или стали на ладони Тэйна появился жук.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	17
Глава 4	24
Глава 5	30
Глава 6	37
Глава 7	43
Глава 8	50
Глава 9	57
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Атари Астар

Гильдия под мостом

Глава 1

Люди, которые слышали обо мне, обычно ждут, что история начнётся с магии. С вспышки света, с чудовища, на худой конец с таинственного старика на перекрёстке. И каждый раз приходится их разочаровывать. Моя история начинается с дерева, которое не хотело падать.

Это была лиственница у Сухого ручья — старая, в три обхвата, с корой, растрескавшейся, как седло, которое сорок лет не видело жира. Управляющий лорда Эшби присмотрел её ещё весной. Из такого ствола в Ардейле резали мачтовый брус и платили за него столько, что у отца дёргалась бровь, когда он об этом вспоминал. Нам полагалась пятая часть. Пятая часть означала новую кровлю над половиной дома, где спали близнецы, и ещё хватало на сапоги тем, кто вырос из старых. То есть почти всем.

К полудню мы с Бренном допилили рез. Отец стоял в стороне, упёршись руками в топориче, и смотрел не на нас, а на крону. Он всегда смотрел на крону. Говорил, что дерево решает, куда ему падать, задолго до того, как ты взял в руки пилу, и твоё дело — не спорить, а вовремя его понять.

Лиственница, видно, решила что-то своё. Она качнулась, застонала всем стволом, пошла туда, куда мы её клонили, и на середине пути легла кроной в развилку соседней ели. Хрустнули ветки. Сверху посыпалась хвоя, мелкая и рыжая, как ржавчина. А потом всё стихло, и огромный ствол повис над поляной наискось, опираясь на ель, как пьяный на плечо приятеля.

— Назад, — сказал отец. Негромко. Он никогда не кричал в лесу.

Мы отошли. Бренн вытер лицо рукавом и выругался так, как при матери не ругался.

— Вдова, — сказал он.

Лесорубы в Хольдмарке называют так дерево, зависшее на другом. Потому что после таких стволов в деревнях появляются вдовы. Я видел зависшие стволы и раньше, но не такие. Эта лиственница весила больше, чем весь наш дом вместе с нами.

— Подпилим ель, — предложил Бренн. — Обе и лягут.

— Обе и лягут, — согласился отец. — Только одна из них на тебя.

Бренн фыркнул, но спорить не стал. Отец обошёл поляну кругом, не приближаясь к стволу, потом ещё раз, с другой стороны. Я знал, что он делает: читает. Где ель держит крепко, где ветки уже треснули, куда поведёт комель, если его сдёрнуть. Мне было восемнадцать, я валил лес с тех пор, как смог поднять топор, и считал, что читаю деревья не хуже него. Правда была в том, что я читал быстрее. Он — вернее.

— Можно подвести ваги под комель, — сказал я. — Провернуть. Она сама соскользнёт.

— Можно, — ответил отец. — Если стоять под ней, пока она проворачивается.

Я замолчал. Он был прав, и это раздражало сильнее, чем если бы он ошибался.

В итоге сделали по-отцовски: длинная цепь на комель, другой конец — к упряжи Пуговицы, нашей старой кобылы, которая за свою жизнь вытащила из этого леса больше брёвен, чем кто-либо в Тарвене. Мы отвели её так далеко, как позволила цепь — почти к самому ручью. Отец держал повод. Мы с Бренном стояли за его спиной.

Пока цепляли, Бренн успел поговорить о главном. И об этом в ту осень говорили все.

— Шесть дней, — сказал он и толкнул меня плечом. — Вернёшься магом — первым делом спили её взглядом. Сбережёшь отцу нервы.

— Камень дерева не валит, — сказал отец, не оборачиваясь.

— Камень, может, и не валит. А маг...

— Маги сидят в Ардейле и светят фонарями. Ты хоть одного мага в лесу видел?

Бренн не видел. Я тоже. Если не считать Мелли, дочку мельника, которая шесть лет назад прошла Камень, и тот затеплился у её груди — тускло, еле-еле, но затеплился. Мелли уехала в Ардейл, в Службу Наполнения, и к весне прислала матери шаль с кистями и письмо. Письмо читал весь Тарвен по очереди, потому что сама мельничиха грамоты не знала. Там было про комнату с настоящей кроватью, про обеды, про жалованье, которое платят каждый месяц, день в день, а если заболеешь — всё равно платят. В Тарвене с тех пор так и говорили: «Ишь, живёт как Мелли». Это значило: лучше некуда.

Бренн проходил Камень два года назад. Камень остался мёртвым. Бренн потом говорил, что и не надеялся, и почти в это верил.

Я надеялся. Я знал, что Искра бывает у одного человека из сорока, и знал, что это значит для парня из Тарвена: почти ничего. Но надеялся всё равно. Каждый вечер, ложась спать, я прикладывал ладонь туда, где под грудиной, как говорили, прячется Искра, и слушал. Слышно было только сердце.

— Готово, — тем временем произнес отец. — Пошла.

Пуговица налегла на хомут. Цепь дрогнула, натянулась и запела тонко, как струна. Комель лиственницы тронулся с места — на ладонь, на две и заскрипел по земле. Сверху, из развилки, донёсся треск: ель не хотела отдавать добычу.

А потом случилось то, что в лесу случается чаще, чем хотелось бы. Цепь соскочила с комля. Не порвалась — соскочила: кора на лиственнице была старая, отслоилась под звеньями целым пластом. Освобождённый ствол качнулся назад, ель спружинила, и лиственница, крутанувшись вокруг себя, пошла вниз. Не туда, куда её тянули. Туда, где Бренн, отошедший на пару шагов в сторону, нагнулся за брошенным клином.

Я не помню, как решил. Помню, что уже бежал. Помню, что Бренн поднимает голову и смотрит не на ствол, а на меня — удивлённо, с клином в руке. Я врезался в него плечом, как в дверь, которую заклинило, и мы вместе покатались в папоротник.

Земля ударила снизу. Сверху ударило дерево.

Не ствол, конечно. Если бы ствол, я бы сейчас ничего не рассказывал. Ударил сук — толстый, в руку, сломанный ещё в развилке. Он прошёл по спине наискось, от лопатки к пояснице, содрал рубаху и что-то под ней. Земля под нами дёрнулась, когда лиственница легла. Потом стало тихо. Только Пуговица всхрипывала у ручья, да где-то высоко всё ещё сыпалась хвоя.

— Тэйн!

Отец стоял над нами. Я не слышал, как он подошёл.

— Живы, — сказал я в папоротник.

Он поднял Бренна за ворот, как котёнка, поставил на ноги, оглядел и тут же толкнул его в грудь так, что тот едва не сел обратно.

— Я сказал — назад! Я что сказал?

— Я был в стороне! — Бренн побелел. — Она крутанулась, ты сам видел...

— Видел!

Отец отвернулся и сплюнул. Руки у него дрожали — я это заметил, потому что ни разу в жизни не видел, чтобы у него дрожали руки. Потом он присел рядом со мной и потянул к себе мою рубаху.

— Покажи.

— Ерунда.

— Покажи, говорю.

— Ерунда, — повторил я и сел, хотя спина при этом сказала мне всё, что о таком решении думает. — Сук. Царапнуло.

Отец посмотрел на меня долго, тем взглядом, каким смотрел на крону, прежде чем взяться за пилу. Потом кивнул — не соглашаясь, а откладывая спор на потом.

— Цепь, — сказал он глухо. — Кору надо было снять под цепью. Моё дело было.

Бренн открыл рот, закрыл и промолчал. Это «моё дело было» значило больше любых извинений, и мы оба это знали. Отец не извинялся. Никогда. Он просто говорил, чьё было дело.

Мы подошли к листовнице. Она лежала поперёк поляны, огромная, бурая, пахнущая смолой и сломанной хвоей. Вершина обломилась об ель, но это было неважно: вершину на брус не берут. Комель остался цел, ни трещины. Отец провёл по нему ладонью, от спиля до первого сука, долго, словно гладил лошадь.

— Цела, — он хлопнул по коре ладонью. — Цела, зараза.

И вот тут, наконец, засмеялся Бренн. Сначала неуверенно, потом громче, а потом и я засмеялся, хотя смеяться было больно, и даже отец хмыкнул в бороду. Мы стояли втроём над деревом, которое чуть нас не убило, и смеялись, как дураки. Сейчас я понимаю, что так смеются люди, которые только что поняли, что им было страшно.

* * *

Наш дом стоял последним по дороге из Тарвена в лес — дальше начинались только пни и тропы. Длинный, низкий, сложенный отцом из того же леса, который его кормил, с дымом над крышей и вечной поленницей вдоль всей южной стены. Я любил подходить к нему в сумерках: окна уже светились, а из-за двери было слышно столько голосов сразу, что снаружи казалось, будто внутри идёт ярмарка.

Нас было десять. Отец и мать, Бренн, я, Тэсса, Орвин, близнецы Кит и Кэдди, Джем и маленькая Ниа, которой той осенью шёл третий год. Я был вторым по старшинству, и я был не их.

Это никогда не произносилось вслух. Не потому, что скрывали, — в Тарвене все знали, откуда я взялся, а потому, что не было нужды. У матери восемь детей, и один из них не её. Ну и что. У Джема веснушки, а у Кэдди нет. Тоже ну и что.

Мать увидела мою спину раньше, чем я успел снять куртку. Не знаю, как ей это удавалось. Может, по тому, как я вошёл.

— Сядь.

— Мам, это...

— Если ты сейчас скажешь «ерунда», я возьму кочергу.

За всю жизнь она ни разу никого из нас не тронула кочергой, и все это прекрасно знали. Но я сел. С матерью спорить было бесполезнее, чем с отцом: отец хотя бы молчал, пока ты доказывал, а мать просто делала по-своему, пока ты ещё только открывал рот.

Тэсса принесла воду и чистую тряпку. Ей было шестнадцать, и в последний год она вдруг стала ростом с мать и научилась так же поджимать губы.

— Дай я, — сказала она.

— Я сам.

— Ты сам себе спину не промоешь, умник.

— Промою.

— Интересно как. Отрастишь третью руку?

Близнецы захихикали. Я забрал у неё тряпку и попытался. Тэсса стояла рядом, скрестив руки, и смотрела, как я выворачиваю локоть и шиплю сквозь зубы. Потом молча отобрала тряпку обратно. Я не сопротивлялся. Точнее, сопротивлялся, но уже для порядка.

Мать смазала ссадину чем-то, что пахло дёгтем и полыньёю, и перевязала полосой старой простыни. Спина горела, но если говорить совсем на чистоту, бывало и хуже. Однажды мне в двенадцать лет рассекло топором голень — сам виноват, торопился. Тот шрам остался на всю жизнь. Этот, решил я, пройдёт за неделю. Как раз к Камню.

За ужином говорили только о нём.

— Огонь, — заявил Кит, размахивая ложкой. — У Тэйна будет огонь. Он будет поджигать деревья и сразу их рубить.

— Зачем поджигать, если рубить? — удивилась Кэдди.

— Чтобы быстрее!

— Сгорит же.

— Не сгорит, если быстро рубить.

— Молнии, — сказал Джем очень серьёзно. — Или снег. Пусть сделает снег, чтобы санки.

— Снег сам пойдёт, — сказала мать. — Через два месяца. Ешь.

Орвин молчал. Ему было тринадцать, он два года бегал к старому Лоуэллу, который когда-то служил писарем в Ардейле, и выучился у него читать и считать лучше, чем кто-либо в Тарвене, включая самого Лоуэлла. Орвин ковырял похлёбку и что-то подсчитывал. Я знал что.

— Один из сорока, — выдал он наконец. Не мне — в миску.

— Знаю.

— В прошлом году в Ардейл возили девяносто три человека со всего округа. Два загорелись. В позапрошлом — сто один, загорелись трое. Это меньше, чем один из сорока. Это ближе к одному из сорока пяти.

— Орвин, — сказала мать.

— Я просто говорю.

— Говори про себя.

Орвин замолчал, но посмотрел на меня поверх миски. Я понял, что он хотел сказать. Не «не надейся». Скорее «я посчитал, и мне тоже страшно». Я подмигнул ему. Он отвернулся, но уши у него покраснели.

— Из Тарвена в этом году трое, — сказала мать, чтобы сменить разговор. — Ты, Ханна кузнецова и Пит Рыжий с того конца.

— Пит загорится, — сказал Бренн с полным ртом. — Он и так вечно горит. Особенно ушами, когда Ханну видит.

Тэсса прыснула в кружку. Кит спросил, что значит «горит ушами», и получил от Кэдди локтем в бок, потому что Кэдди в девять лет знала всё. Отец ничего не сказал, но я видел, что он улыбается в бороду.

В Тарвене проводы к Камню были почти праздником. Кандидатам повязывали на рукав красную ленту, чтобы в Ардейле видели, откуда они. Вся деревня выходила к мельнице смотреть, как отъезжает телега, и каждый считал своим долгом дать совет: не бойся, не дыши, дыши глубже, думай о хорошем, ни о чём не думай. Возвращения встречали тише. Возвращались почти все.

Когда мать отвернулась к очагу, Бренн, не глядя на меня, отломил от своего хлеба большую половину и сунул мне в миску. Я так же молча подвинул её обратно. Он подвинул снова — и прижал сверху ложкой, чтобы не уехала.

— Бренн.

— Ешь, — сказал он. — А то ещё раз кинешься меня спасать, а сил не будет.

Это было самое близкое к «спасибо», что Бренн вообще умел говорить. Я съел хлеб. Он был ещё тёплый.

После ужина, когда малышей уложили, а близнецы наконец перестали спорить, отец достал с полки над очагом жестяную коробку из-под чая. В ней жили деньги. Обычно там было пусто, а иногда — очень пусто.

Он высыпал на стол содержимое и разложил монеты по кучкам, двигая их толстым пальцем. Медные клиппы — отдельно. Серебряные солы — отдельно. Солов было четыре.

— Мельник повезёт муку в Ардейл накануне Камня. Все наши на его телеге поедут. За проезд два сола — туда и обратно. Ночлег в «Колесе», это ещё сол. Ну и поесть.

— Я пешком дойду, — сказал я. — За день дойду. И спать могу под телегой, там...

— Поедешь как человек.

— Это же почти всё, что там есть.

— Я умею считать.

— Лиственница...

— Лиственницу управляющий заберёт после Камня, — отец отодвинул мне три монеты.
— А платит он всегда поздно.

Я смотрел на три серебряных кружка и не мог заставить себя их взять. Это было глупо. Все, кто ехал к Камню, ехали на телегах, и никто не шёл пешком из гордости. Но эти три сола были кровлей над близнецами. Были сапогами Орвина. Я знал это, и отец знал, что я знаю.

— Возьми, — тихо сказала мать от очага.

Я взял. Сжал в кулаке так, что края монет впились в ладонь.

— Верну.

— Да уж вернёшь, — ответил отец и убрал коробку обратно на полку. — Куда денешься.

* * *

Ночью мне не спалось. Спина ныла, а в голове крутилось всё сразу: хруст ели, лицо Бренна в папоротнике, Мелли с её шалью, три сола, один из сорока пяти. Я полежал, послушал, как сопит в углу Джем, как ворочаются близнецы, и в конце концов вышел во двор.

Была луна. Не полная, но яркая, и в её свете поленница у стены казалась серебряной. Под навесом лежал чурбак, в чурбаке торчал колун. Я взял его, поставил полено и расколол. Потом ещё одно. Спина от этого болела сильнее, но голова становилась тише. Так было всегда. Когда я не знал, что делать, я делал то, что умел.

Отец вышел, когда я расколол десятое. В руках у него была трубка, незажжённая. Он курил её раз в год, на Долгую ночь, а в остальное время просто держал в зубах, когда думал.

— Спать собираешься?

— Скоро.

Он сел на колоду у двери. Я расколол ещё два полена и остановился.

— А если загорится? — спросил я.

Отец пожал плечами.

— Загорится — будешь думать. Не загорится — будем рубить.

— Мелли вон шаль прислала.

— Прислала.

— Если я... если меня возьмут, как Мелли, это же каждый месяц. Каждый месяц, пап. Кровля, сапоги, Орвина можно в Ардейл учить отправить, он же голова, а тут пропадёт...

— Тэйн.

Я замолчал.

— Ты сначала до Камня доедь, — сказал отец. — Потом делить будешь.

Он был прав. Как всегда. Я поставил колун и сел рядом с ним на колоду. Сидели мы тесно, плечо к плечу, — колода была короткая, а отец был широкий. Где-то за ручьём ухала сова. Ночь пахла смолой, дымом и первым заморозком.

Я знаю, что задал этот вопрос потому, что до Камня оставалось шесть дней и мне впервые в жизни было по-настоящему страшно. Но тогда я просто спросил:

— Какой он был?

Отец не переспросил, о ком я. Я задавал этот вопрос, может, три раза за всю жизнь. Первый — лет в семь, когда мальчишки у колодца впервые сказали мне «приёмыш» таким голосом, что это слово прилипло ко мне, как репей. Отец тогда ответил: «Чужой». И всё.

В этот раз он молчал дольше.

— Высокий, — сказал он наконец. — Как ты. Смуглее. Говорил чудно — слова правильные, а звучат не так. Появился у нас зимой, за восемнадцать лет до этой. С женщиной. Поселились в старой сторожке за рекой, где раньше жил лесничий. Платил за всё монетой, какую у нас никто не видел. Квадратная, с дыркой посередине.

— Откуда он?

— Не говорил. Спрашивали — улыбался, — отец покрутил трубку в пальцах. — Не злой был. Тихий. Со мной раза два дрова пилил, просто так, от скуки. Руки белые, а пилить умел.

— А она?

— Её мало кто видел. Она из сторожки почти не выходила. Твоя мать ей носила молоко, когда ты родился. Говорит, красивая была. Уставшая очень.

Я ждал. Остальное я знал, но хотел услышать ещё раз.

— По весне я пошёл за реку метить лес, — сказал отец. — И нашёл его. На тропе, в полумиле от сторожки.

— Зверь?

Я знал ответ. Всё равно спросил.

— Не зверь, — сказал отец. — Зверь так не делает.

О том, что он увидел на тропе, отец не рассказывал никогда — ни тогда, ни потом. Я не настаивал. В этом «зверь так не делает» было что-то такое, отчего отец, который за свою жизнь видел и медвежьих задиры, и волчьи, и то, что остаётся от человека после зимы в лесу, отворачивался и замолкал.

— В сторожке никого не было, — продолжил он. — Только ты. В корзине, в плаще. Орал так, что я тебя от самой реки слышал. А её — нет. Ни её, ни вещей. Даже следов не было, а снег ещё лежал.

Я потрогал шнурок на шее. На нём висела капля янтаря с тёмной крапинкой внутри, величиной с ноготь. Мы с Бренном в детстве спорили, мушка там или просто грязь. Больше от них ничего не осталось. Ни от него, ни от неё. Плащ мать давно перешила на одеяло, и оно истёрлось в дыры ещё до того, как родилась Тэсса.

— Я его в тот же день принёс, — отец кивнул на шнурок. — Янтарь. Он у тебя в кулаке был зажат. Мать говорит, так и есть не мог — не разжимал.

Мой день рождения в семье считали по этому дню — по дню, когда отец принёс меня из-за реки. Был ли он настоящим, не знал никто.

Сова за ручьём замолчала. Отец сунул трубку в зубы и долго сидел так, глядя на серебряную поленницу. Потом сказал то, чего я от него раньше не слышал:

— Он меня спрашивал про Камень.

Я повернулся к нему.

— Когда пилили. Спросил, в каком возрасте у нас водят детей к Камню. Я говорю — в восемнадцать, как везде, — отец вынул трубку изо рта. — А он засмеялся.

— И что?

— Ничего. Засмеялся, и всё. Только нехорошо так. Будто я ему сказал, что вода мокрая, а он точно знает, что сухая.

Я не знал, что на это ответить. Отец, кажется, тоже. Мы посидели ещё немного. Потом он поднялся, хрустнув коленями, и положил мне руку на голову — тяжёлую и тёплую, как бревно, весь день пролежавшее на солнце.

— Спи, — сказал он. — Завтра сучья обрубать. Лиственница сама себя не очистит.

— Спина...

— Спина к утру пройдёт. А не пройдёт — будешь обрубать левой.

Он ушёл в дом. Я посидел ещё немного, потом тоже пошёл.

Ночью пошёл дождь — первый осенний, мелкий и упрямый. Над кроватью близнецов опять закапало, и мать, не просыпаясь до конца, подставила ведро. Я лежал на спине, которая к утру, конечно, не прошла, и слушал, как капли бьют в жесть. Раз, два, три. До Камня оставалось шесть дней, и я считал капли, пока не рассвело.

Глава 2

Красную ленту мне повязала мать. Она делала это долго, дольше, чем нужно для одного узла: расправляла, перевязывала, снова расправляла, пока отец не сказал «Мэйра» тем голосом, каким говорил «Пуговица», когда кобыла упиралась на подъёме. Тогда мать отступила и посмотрела на меня так, будто я уезжал не на два дня в Ардейл, а на войну.

У мельницы собрался весь Тарвен. Мельник Джосс уже сидел на козлах и делал вид, что его всё это не касается, хотя сам надел чистую рубаху. На мешках с мукой устроились Ханна и Пит Рыжий, оба с лентами. Ханна — прямая, спокойная, с косой, уложенной вокруг головы, как у городской. Пит — красный до корней волос и оттого ещё рыжее обычного.

Советы сыпались со всех сторон. Не бойся. Не дыши, когда Камень греется. Дыши глубже. Думай о хорошем. Ни о чём не думай, а то Камень обидится. Старая Мардж, которая пережила двух мужей и одного сборщика налогов, протиснулась к телеге и сунула мне в руку сушёное яблоко.

— На удачу, — сказала она. — Мелли я тоже давала.

Я поблагодарил и сунул яблоко за пазуху. Близнецы висели на борту телеги, пока Бренн не снял их по одному, как котят с забора. Тэсса стояла чуть в стороне и махнула мне, когда телега тронулась, — один раз, коротко, будто прогоняла муху. Отец не махал. Он просто стоял, положив руку на голову Джема, и смотрел, пока мы не скрылись за поворотом. Я знаю, потому что оглядывался до самого поворота.

Дорога в Ардейл заняла весь день. Телега скрипела, мешки пылили мукой, спина под рубахой чесалась от засохшей ссадины. Пит болтал без умолку. Он рассказывал, что сделает, когда станет магом: построит матери дом из камня, купит лошадь, не такую, как Пуговица, а настоящую, с лентами в гриве, и будет возить на ней Ханну по воскресеньям.

— Меня не надо возить, — сказала Ханна, не отрываясь от вязания.

— Ну, не по воскресеньям. По субботам.

— Пит.

— Ладно, по праздникам.

Ханна знала, чего хочет, и не скрывала этого. Она хотела в Службу Наполнения. Не магом с огнём и молниями, а наполнителем, как Мелли: комната, жалованье, чистые руки.

— У нас в кузне я каждый день обжигаюсь, — сказала она просто. — Хочу не так.

Я не знал, чего хочу. То есть знал, но это «чего хочу» было таким большим и неясным, что его не получалось сказать словами. Поэтому я молчал и смотрел, как лес сначала редет, потом становится полями, потом живыми изгородами, а потом, к вечеру, над изгородами поднялись стены Ардейла.

* * *

Ардейл был первым городом в моей жизни. Сейчас это смешно — двенадцать улиц, рынок, ратуша, две церкви и мост через Ярну, но тогда мне казалось, что столько камня в одном месте просто не бывает. Дома стояли вплотную, как дрова в поленнице. Улицы были мощёные, и колёса грохотали по ним так, что мешки подпрыгивали.

На рыночной площади стоял фонарь. Обыкновенный фонарь на чугунном столбе, только огня в нём не было. Внутри, в стеклянном колпаке, висел кристалл величиной с кулак и светился ровным, холодным, чуть голубоватым светом. Он не мигал, не коптил и не чадил. Я остановился и смотрел на него, пока Джосс не окликнул меня с телеги.

— Эфир, — сказал какой-то прохожий своему спутнику, кивнув на фонарь. — Опять Служба не долила, гляди, как тускнеет.

Мне он не казался тусклым. Мне он казался чудом.

«Колесо» было набито кандидатами, как бочка селёдкой. Ленты у всех были разные: красные у нас, синие у ребят из Бэрроу, жёлтые у каких-то рыбаков с озера. Мы спали втроём на одной лавке в общем зале: Пит у стены, я с краю, Ханна между нами — она сказала, что так ей спокойнее, и Пит всю ночь не смел пошевелиться. Я почти не спал. В темноте кто-то плакал, кто-то молился, кто-то в углу шёпотом пересказывал историю про парня, у которого на Камне загорелись волосы.

— Врут, — сказала в темноте Ханна.

— Откуда знаешь? — спросил Пит.

— Если бы у кого-то загорелись волосы, это был бы ты.

Пит не нашёлся, что ответить. Я лежал и улыбался в потолок, и мне было страшно так, что сводило живот.

* * *

Раскрытие проводили в ратуше, в большом зале с балками под потолком и узкими окнами. Утром там было холодно и пахло сырым камнем. Кандидатов впускали по одному, а остальные ждали вдоль стен. Мы стояли так тесно, что я чувствовал плечом чужое дыхание.

В дальнем конце зала стоял стол. За ним сидел писарь с огромной книгой. Рядом стоял Смотритель Раскрытия — немолодой худой мужчина в сером мундире с синими обшлагами. У него было усталое лицо человека, который делает это в сотый раз за неделю и в десятитысячный за жизнь. На столе, на подставке из тёмного дерева, лежал Камень.

Я ожидал увидеть что-то огромное. Алтарь, валун, колонну. Камень был размером с каравай. Мутный, молочно-белый, гранёный, как очень грубо обтёсанный лёд. В нём не было ничего особенного, кроме того, что сотни людей в этом зале смотрели на него так, будто от него зависела их жизнь. Впрочем, так оно и было.

Чуть в стороне от стола, у окна, сидела женщина. Я заметил её не сразу — она была в сером, как стена, и сидела так тихо, что взгляд проскальзывал мимо. Немолодая, прямая, в длинном дорожном пальто. На коленях у неё лежала маленькая книжка. Она ничего не делала, только смотрела.

— Это кто? — шепнул Пит.

— Не знаю, — ответил я.

— Из столицы, — уверенно шепнул кто-то сзади. — Наблюдатель. Раз в сколько-то лет присылают.

Процедура шла быстро. Кандидат подходил, называл имя и деревню. Писарь записывал. Смотритель протягивал Камень, кандидат прижимал его к груди обеими руками. Смотритель клал сверху ладонь и что-то делал — я не видел что, видел только, как у него на секунду напрягаются пальцы. И всё. Камень оставался мутным. Смотритель говорил: «Благодарю, следующий». Кандидат отходил.

Мёртвый. Мёртвый. Мёртвый.

Кто-то отходил с облегчением, кто-то — с таким лицом, что на него не хотелось смотреть. Одна девушка из Бэрроу разрыдалась прямо у стола, и Смотритель, не меняя выражения лица, подал ей платок. Видно, у него их был запас.

Потом Камень вдруг затеплился. У коренастого парня с жёлтой лентой — еле-еле, будто внутри кто-то поднёс к мутному льду огарок свечи. Зал ахнул. Кто-то захлопал. Смотритель что-то тихо сказал, писарь заскрипел пером, а у парня с жёлтой лентой затряслись руки. Он вытянул ладонь, и над ней поднялась струйка пара. Просто пар, как над котлом. Она подержалась несколько вдохов и растаяла.

— Воздействие, вода, — сказал Смотритель писарю. — Жар тусклый, — и парню. — Служба Наполнения. Контора на Соляной улице, договор подписывается в течение месяца. Поздравляю.

Парень кивнул, как во сне, и отошёл. Его обнимали свои. Я смотрел, как он улыбается, и думал, что вот так, наверное, выглядела шесть лет назад Мелли.

— Пит Рыжий, Тарвен, — сказал писарь.

Пит пошёл к столу, как на казнь. Прижал Камень к груди так, что побелели пальцы, зажмурился. Смотритель положил ладонь.

Мёртвый.

Пит постоял ещё немного, не открывая глаз, будто надеялся, что Камень просто задумался. Потом открыл, увидел, засмеялся — громко, слишком громко для этого зала — и отошёл, всё ещё смеясь. Мне хотелось взять его за плечо, но он прошёл мимо, не глядя.

— Ханна, Тарвен.

Ханна подошла спокойно, как к наковальне. Прижала Камень, выпрямила спину. Смотритель положил ладонь. И Камень затеплился — ровно, тускло, упрямо. Ханна открыла глаза, посмотрела на свет у себя под подбородком, и лицо у неё стало таким, какого я никогда у неё не видел. Она не заплакала. Она просто сказала «ну вот», очень тихо, и выдохнула.

Почерк у неё проявился тоже тихо: на её ладони выступил иней. Тонкий, узорчатый, как на окне в Долгую ночь. Смешно — у дочери кузнеца, которая всю жизнь обжигалась.

— Воздействие, холод. Жар тусклый. Служба Наполнения.

— Да, — сказала Ханна. — Я согласна. Где подписать?

— В конторе, в течение ме...

— Можно сегодня?

Смотритель впервые за утро поднял бровь. Потом кивнул.

— Тэйн, Тарвен.

У меня онемели ноги. Я шёл к столу и чувствовал каждый шаг, как если бы под ногами был не пол, а бревно на воде. Смотритель протянул мне Камень. Он оказался тяжелее, чем выглядел, и холодным, как речная галька поздней осенью. Я прижал его к груди, туда, где под рубахой висела янтарная капля, и ощутил, как они стукнулись друг о друга.

— Не зажимайся, — сказал Смотритель негромко. Первый раз за утро он сказал кому-то что-то кроме «следующий». — Будет тепло. Не мешай ему.

Он положил ладонь поверх моих рук.

Я много раз пытался потом объяснить, каково это. Лучше всего получается так. Представьте полено, которое долго лежало в поленнице, сухое, звонкое. Вы ставите его на колоду и вбиваете клин в торец. Первый удар — ничего. Второй — ничего. А на третьем полено вдруг расходится по волокну, само, с тихим треском, и внутри оказывается светлое, пахучее, нетронутое дерево, которого до этого никто никогда не видел.

Вот так это было. Что-то вошло в меня через ладонь Смотрителя — острое и чужое, как клин. А потом под грудиной раскололось и раскрылось, и из трещины хлынуло тепло. Оно было густое, медленное и тягучее, как сок, который весной течёт из надрубленного клёна. Оно заполнило грудь, плечи, руки. Кончики пальцев закололо.

А потом Камень вспыхнул.

Не затеплился. Вспыхнул. Свет ударил из-под моих ладоней так, что я сам зажмурился, а когда открыл глаза, увидел, что писарь закрывает лицо локтем, а люди у стен отшатнулись. Свет был белый и горячий, и в нём, как пылинки в луче, плавали искры. Зал молчал. Потом кто-то сказал «ох», и это «ох» покатилося по залу, от стены к стене.

— Яркий, — сказал Смотритель. Он смотрел на меня теперь совсем по-другому: не устало, а внимательно, как отец смотрит на незнакомое дерево. — Жар яркий. Запиши.

Писарь, шурясь, записал.

— Хорошо, — смотритель забрал Камень, и свет в нём медленно погас. — Теперь отпусти.

— Что отпустить?

— То, что у тебя внутри. Не держи. Протяни руку и дай ему выйти. Как выдох.

Я вытянул правую руку ладонью вверх. Сердце колотилось в горле. Я думал об огне — Кит так хотел огня. Думал о молниях. О снеге для Джема. Потом перестал думать, потому что ладонь зачесалась.

Сначала — будто под кожей ползёт что-то тёплое. Потом из середины ладони, из самой ямки, потянулась нить. Тонкая, тоньше волоса, бурая, как кора старой ели, и светящаяся изнутри глухим тёплым светом — так светятся угли, когда их присыплет пеплом. За ней вторая, третья, десятая. Они не торчали, а двигались, быстро и уверенно, словно чьи-то невидимые пальцы вязали из них что-то прямо у меня на ладони. Нити сплетались, свивались в жгуты, ложились петлями и витками. Я видел каждую, и мне было не больно. Было щекотно, и тепло, и так странно, что я забыл дышать.

Сначала появился контур. Вытянутое тело. Голова. Шесть тонких лапок, каждая — нить, свитая втрое, с узелками света на сгибах. Потом контур стал наполняться: виток за витком, узел за узлом, как если бы кто-то штопал дыру изнутри. На спинке нити легли кольцами, одно в другом, и я сразу узнал этот узор. Такие кольца видишь на свежем спиле, когда считаешь, сколько лет было дереву. Надкрылья. Длинные усики, каждый из одной нити, дрожащие, хотя в зале не было ни ветерка. И жвалы — тяжёлые, массивные, сплетённые так плотно, что светились почти сплошь.

Жук. Величиной с половину моей ладони. Бурый. Полупрозрачный, так что сквозь спинку я видел, как по нему бежит свет — медленно, толчками, будто пульс.

Он пошевелил усами. Потом лапками. Потом поднял голову и посмотрел на меня двумя узелками света, и я, глупо, как ребёнок, подумал: он на меня смотрит.

Я знал этого жука. Я видел его сотни раз — не такого, не светящегося, а настоящего, чёрно-бурого, в трухлявых стволах, которые мы раскалывали на дрова. Его ходы, извилистые, забитые трухой, портили лучшие брёвна. Отец ругал его последними словами.

— Древооточец, — сказал я вслух.

Жук, словно услышав, прыгнул с моей ладони на стол. Неуклюже — лапы у него разъехались, — но он выпрямился, подбежал к краю стола и деловито, с тихим, почти неслышным хрустом, вгрызся в дубовую кромку. Из-под жвал посыпалась светлая стружка.

Секунду в зале было тихо.

Потом кто-то хрюкнул. Кто-то хихикнул. Потом Пит — я узнал его голос, хотя он стоял где-то позади, — сказал громко, на весь зал:

— Сын лесоруба! Породил древооточца!

И зал грохнул.

Смеялись все. Ребята с синими лентами, рыбаки, девушка из Бэрроу, которая только что рыдала. Писарь смеялся, прикрывая рот рукавом. Даже Смотритель дёрнул уголок рта, но тут же посерьёзней, отодвинул свою книгу подальше от жука и вздохнул.

— Порождение, — сказал он писарю. — Насекомые.

Я стоял посреди этого смеха, красный, как Пит, и смотрел на жука, который как ни в чём не бывало грыз стол. Было обидно. Было смешно — мне тоже, где-то глубоко, было смешно. Сын лесоруба. Древооточец. Отец бы сказал: «Только работу у меня не отбей». И от этого почему-то стало легче.

— Послушай меня, — смотритель оперся о стол. Он говорил тихо, для меня одного. — Жар у тебя яркий. Такого я в этом году ещё не видел. Для Службы это очень хорошо. Выработка наполнителя зависит от Жара, и жалование тоже. Тебя возьмут старшим. Это полтора ауреона в месяц. Ауреон — сразу при подписании.

Полтора ауреона. В месяц. Я даже не сразу понял, что он сказал. Это была кровля над всем домом. Сапоги всем. Орвин в школе в Ардейле. Это было больше, чем отец зарабатывал за полгода.

— А... — я запнулся на слове. — А если не в Службу?

Смотритель посмотрел на жука.

— Порождающий на Эннисе, — сказал он, и я не понял слова «Эннис», но понял, что оно значит «на самом дне». — Государственная служба тебя не возьмёт. Армии нужен огонь, сталь, быстрые руки. Им не нужен жук, который грызёт стол.

— А гильдии?

— В гильдиях учатся годами. Или приходят уже учёными, — нн сказал это без злобы, так, как говорят, что зимой холодно. — Скажу тебе честно, парень, потому что потом тебе этого никто не скажет. Наполнитель не растёт. Каждый день отдаёшь всё, что сверху, и Искра остаётся такой, какая есть. Магом ты так и не станешь. Но тебе и не надо. Будешь сыт. И семья твоя будет сыта.

Он протянул мне лист с печатью: синий сургуч, оттиск с какими-то буквами. Договор. Подписывается в любой конторе Службы в течение месяца.

— Теперь отпусти его, — сказал Смотритель, кивнув на жука. — Не бойся. Он сам развееется. У новичков это пара вдохов.

Я посмотрел на древоточца. Древоточец грыз стол.

Я не знал, как его «отпустить». Я попробовал сделать то же самое, что сделал, когда его выпускал, — только наоборот. Вдохнуть. Не вышло. Жук продолжал грызть. Стружки под ним становилось больше. Прошло пять вдохов. Десять. Смех в зале стал тише, неуверенней. Смотритель перестал улыбаться.

А потом у окна встала женщина в сером.

Она подошла к столу неторопливо, не глядя ни на кого, и остановилась над жуком. Смотритель посторонился, и я заметил, что он сделал это быстро — так быстро, как мельник Джосс отступает с дороги перед управляющим лорда Эшби.

Женщина наклонилась. У неё были светлые, почти бесцветные глаза и тонкие морщинки вокруг них — как у человека, который много лет что-то высматривал. Она смотрела на древоточца долго. Жук на секунду перестал грызть, поднял усики в её сторону и снова вернулся к работе.

— Когда ты его сплёл? — спросила она. Голос у неё был низкий и спокойный.

— Только что. Сейчас.

— Ты его держишь? Кормишь?

— Я... — Я не понимал вопроса. Нет. Он просто... Я не знаю, как его убрать.

Она кивнула, как будто это был правильный ответ. Открыла свою маленькую книжку, что-то в ней написала, быстро и мелко.

— Имя.

— Тэйн. Из Тарвена.

Она записала и это. Потом повернулась к Смотрителю.

— Порождение, насекомые, — сказала она. — Жар яркий. И пометьте: устойчивое.

Смотритель моргнул.

— Устойчивое? На Эннисе?

— Пометьте, — повторила она, не повышая голоса.

Смотритель помолчал, потом кивнул писарю. Писарь, уже не смеясь, заскрипел пером. Женщина в сером закрыла книжку, в последний раз посмотрела на меня — не на жука, на меня, коротко, как смотрят на дорожный указатель, чтобы запомнить поворот, — и пошла к выходу. Люди расступались перед ней, сами не понимая зачем.

— Следующий, — сказал Смотритель.

Я протянул руку к столу. Древоточец бросил кромку, вскарабкался мне на палец, пробежал по запястью и забрался в рукав. Там он устроился у локтя и затих. Тёплый. Чуть покалывающий, как нога, которую отсидел.

Я пошёл к стене, держа в другой руке договор с синей печатью. Смеялись уже тише. Кто-то хлопнул меня по плечу. Кто-то сказал «поздравляю». Пит не смотрел на меня.

* * *

Вечером в «Колесе» Ханна угостила нас пирогом с почками. Она подписала договор сразу после Раскрытия и получила задаток — три сола. Три сола, просто так, за подпись. Она выложила монеты на стол и смотрела на них, как на что-то живое.

— В четверг переезжаю на Соляную, — сказала она. — Там общее жильё для новеньких. Мелли говорила, там простыни каждую неделю меняют.

— Поздравляю, — сказал я от всей души, ибо и правда был рад за неё.

Пит ел пирог молча. Потом отодвинул тарелку и сказал, не глядя на меня:

— Я не хотел. Про древоточца. Само вырвалось.

— Знаю.

— Смешно же было.

— Было.

Он кивнул и снова уткнулся в тарелку. Больше мы об этом не говорили.

Ночью я опять не спал. Лежал на лавке, закатав рукав, и смотрел на жука. Он сидел у меня на запястье, сложив лапки, и медленно светился — тускло, бурым, как угли в очаге под утро. Иногда по нему пробегала волна света, и тогда я чувствовал её в собственной руке: лёгкий толчок, как если бы под кожей дёрнулась жилка.

Между нами была нить. Я не видел её, но чувствовал — так же ясно, как чувствовал собственные пальцы. Если закрыть глаза, можно было понять, где он. Если подумать «шевели-нись» — он шевелил усами.

Смотритель сказал: пара вдохов. Прошло полдня.

Я так и не понял, как его отпустить. Если честно, я и не пытался больше. Мне было страшно, что получится.

Глава 3

Новости в Тарвен всегда приходили раньше людей. Как — не знаю. Может, их приносил ветер, может, корабейники, которые ходили той же дорогой, но быстрее. Когда телега Джосса вечером следующего дня выкатилась из-за поворота к мельнице, там уже стояла толпа, и первое, что я услышал, было:

— Ярко! Говорят, ярко загорелся!

А второе, почти сразу:

— А жука-то покажи! Жука!

Пит спрыгнул с телеги, не дожидаясь, пока она остановится, и ушёл к себе, не оборачиваясь. Его мать пошла за ним. Остальные обступили меня. Старая Мардж пробились вперёд и потрогала мой рукав, будто проверяла, настоящий ли я.

— Яблоко, — сказала она торжествующе всем вокруг. — Я же говорила. Моё яблоко.

Кто-то смеялся. Кто-то хлопал меня по спине, прямо по заживающей ссадине, и я шипел сквозь зубы. Сын кузнеца спросил, правда ли, что Ханна осталась в Ардейле, и когда я сказал, что правда, лицо у него сделалось длинное-длинное. Жука я показывать не стал. Он сидел у меня в рукаве, у локтя, тёплый и тихий, и мне почему-то не хотелось вытаскивать его на свет перед всеми. Как не хочется показывать людям то, что только что нашёл и ещё сам не рассмотрел.

Дома показать всё-таки пришлось.

Я выпустил его на стол, прямо в середину, между хлебом и кувшином. Древоточец сполз с моего пальца, встряхнул усами и пошёл вдоль стола, пробуя лапками каждую щербинку. За день он немного потускнел: свет по нему бежал реже, и мне казалось, что нити на спинке стали чуть реже, чем утром, будто ткань поистёрлась.

Близнецы визжали так, что Ниа проснулась и заревела. Джем полез под стол смотреть снизу. Тэсса отодвинулась подальше и сказала, что если эта штука заползёт к ней в постель, она сожжёт дом. Орвин не сказал ничего — он лёг грудью на стол и смотрел на жука так близко, что почти касался его носом.

— Он из ниток, — сказал он.

— Из света, — поправила Кэдди.

— Из ниток, которые из света. Видишь? Вон, на лапке узелок.

— А кусается? — спросил Кит и, не дожидаясь ответа, ткнул жука пальцем.

Древоточец кусается. Это мы выяснили сразу. Кит заорал и затряс рукой, и на пальце у него выступила капля крови, крошечная, как маковое зерно. Мать схватила его руку, отец схватил жука, а я схватился за голову, потому что в тот момент, когда Кит дёрнул пальцем, я почувствовал это сам: не боль, а толчок, будто что-то дёрнуло за невидимую нитку, привязанную у меня под грудиной.

— Жжётся! — выл Кит. — Он жжётся!

— А не надо тыкать, — сказала мать, дуя ему на палец.

Отец держал древоточца на раскрытой ладони. Жук сидел смирно — видно, решил, что с этим человеком лучше не спорить. Отец поднёс его к глазам, повертел, посмотрел на жвалы, на витки на спинке, похожие на годовые кольца. Лицо у него было странное. Я не сразу понял, что он пытается не засмеяться.

— Древоточец, — сказал он наконец.

— Древоточец, — согласился я.

— Сын лесоруба.

— Мне уже говорили.

Отец посмотрел на меня поверх жука.

— Только работу у меня не отбей, — сказал он.

И тут уже засмеялся по-настоящему. Громко, раскатисто, откинув голову, так, что затряслась борода. Я никогда не слышал, чтобы он так смеялся. Ни разу. Мать смотрела на него, открыв рот, близнецы перестали реветь, а Бренн, стоявший у двери, начал хохотать следом. Через минуту смеялся весь дом, даже Кит, у которого ещё не высохли слёзы, даже Ниа, которая не понимала, в чём дело, но смеяться любила. Древоточец сидел на ладони у отца и шевелил усами.

В ту ночь я впервые понял, что всё будет не так страшно, как казалось. И ошибся, конечно. Но ночь была хорошая.

* * *

Следующие дни я почти не спал. Не от тревоги — от любопытства.

Древоточец не исчезал. К утру второго дня он потускнел: свет по нему бежал реже, нити светились глуше, будто угли подёрнулись пеплом. Я проснулся вялый, как после болезни, и голодный как волк. Я испугался, что он гаснет, взял его в ладони — и понял, что гаснет не он. Гасну я. А он просто светится тем, что у меня есть.

Я поел. Мать поставила передо мной миску, и я съел её, и ещё хлеба, и ещё. К полудню жук снова сиял, как в Ардейле.

Значит, так. Он держится на мне. Пока я его держу, он понемногу тянет из меня — как ручей из пруда. Сам по себе он ничего не ест, не устаёт и не болеет. Он просто есть — пока есть я.

На третий день я попробовал сплести второго. Встал во дворе, вытянул ладонь, закрыл глаза, вспомнил, как это было на Камне, — и ладонь зачесалась. Нити пошли медленнее, чем в первый раз. Я видел, как они путаются, как один виток ложится не туда и распускается, а потом ложится снова. На второго ушло, наверное, вдохов тридцать. Когда он наконец встряхнул усами, у меня дрожали колени, а под грудиной стало пусто и холодно, словно там выгребли угли.

Третий получился быстрее. Четвёртый не получился совсем.

Нити пошли, сплелись в контур — голова, половина спинки, три лапы, — а потом лопнули, все разом, с тихим звуком, будто оборвалась струна. Обрывки повисли в воздухе бурой паутиной и погасли. А меня повело. Двор качнулся, я сел прямо в грязь и сидел так, пока Тэсса не вышла и не спросила, не пьян ли я. Под грудиной было не просто пусто. Там тянуло, как тянет в животе, когда сорвёшься с дерева и летишь.

Три. Больше пока не получалось.

Зато я научился их отпускать. Не с первого раза — дня через два. Оказалось, это похоже на то, как выдыхаешь, когда долго держал на плечах бревно и наконец скинул. Надо не толкать жука прочь, а позвать обратно. Нити разматывались и вытягивались в ладонь, и часть тепла возвращалась. Не всё — примерно половина. Остальное, видно, уходило на то, чтобы жук вообще был.

Но отпускать я их не торопился. Держать трёх жуков было как нести на плече лёгкую жердь: тянет понемногу, но почти не замечаешь. А стоило отпустить — и через минуту я уже скучал по ним, как по стуку топора в тихом лесу. Поэтому днём я их держал, а отпускал только на ночь. Утром сплетал заново. Они выходили каждый раз одинаковые, будто те же самые, — и каждый раз новые.

Ещё я узнал, что хочу есть. Всё время. Раньше я ел как все, то есть что дадут. Теперь к обеду у меня тряслись руки, а после ужина я смотрел на пустую миску и понимал, что съел бы ещё две. Мать заметила это на второй день и молча стала накладывать мне больше. На третий — ещё больше. На четвёртый я увидел, как она отрезает Джему кусок хлеба тоньше, чем обычно, и мне стало так стыдно, что я вышел из-за стола.

Сам поход в Ардейл стоил три сола. Теперь я ещё и ел за двоих. Магия, оказывается, была не только чудом. Магия была ещё одним ртом.

* * *

Но главное я узнал на лиственнице.

Мы с отцом и Бренном обрубали с неё сучья. Работа нудная, долгая: ствол огромный, сучьев сотни, и каждый надо срубить вровень с корой, чтобы брус вышел чистым. Я выпустил жуков просто посмотреть. Посадил на сук толщиной в палец и подумал: «Грызи».

Древооточец вгрызся. Хруст был еле слышный, как если бы кто-то жевал сухарь за стеной. Стружка посыпалась светлыми завитками. Я досчитал до десяти — и сук, подточенный у основания, накренился и упал.

Бренн присвистнул. Отец ничего не сказал, только перестал рубить.

Я посадил второго на сук потолще, в два пальца. Тот управился вдохов за двадцать. Третьего — на самый толстый, в руку. Этот грыз долго, я успел срубить три сука топором, прежде чем он прогрыз хотя бы до половины. Но прогрыз. Потом я подсёк остаток одним ударом.

— Ну-ка, — сказал отец.

Он подошёл, взял срубленный сук и посмотрел на срез. Срез был гладкий, будто прошлись стругом, только чуть вогнутый и весь в мелких бороздках от жвал.

— Сколько он на бревно потратит?

— Не знаю. Долго.

— А трое?

— Тоже долго. Но быстрее.

— А если их будет десять?

Я не знал. Отец покрутил сук в руках, бросил его в кучу и вернулся к работе. Но весь день потом я ловил на себе его взгляд — задумчивый, будто он прикидывал, куда повалится дерево.

А вечером я нашёл ещё одно. Древооточец сидел на стволе лиственницы, в стороне от нас. Я закрыл глаза, просто так, чтобы отдохнуть, — и вдруг почувствовал бревно. Всё бревно, целиком, от комля до обломанной вершины. Не увидел — почувствовал, как чувствуешь ногами землю, когда идёшь босиком. Бренн ходил вдоль ствола, и каждый его шаг отдавался в дереве мягким толчком. Отец рубил сук у комля, и удары его топора катились по стволу волнами, одна за другой, я мог бы пересчитать их. Где-то посередине, внутри, была трещина — тонкая, давняя, заплывшая смолой. Я знал, где она, хотя никогда её не видел.

Потом меня замутило, и я открыл глаза.

— Пап, — сказал я. — В середине трещина. Шагов двадцать от комля. Внутри.

Отец посмотрел на меня, потом на ствол. Прошёл двадцать шагов, постучал обухом, послушал. Постучал ещё раз, рядом.

— Есть, — сказал он. — Откуда знаешь?

Я не знал, как объяснить. Поэтому показал на жука.

* * *

Старый Лоуэлл жил в домике у часовни, заваленном бумагами так, что ходить можно было только боком. Орвин затащил меня к нему на пятый день, почти силой.

— Ты же ничего не знаешь, — сказал он по дороге. — Ни что такое Эннис, ни что такое Порождение. А подписывать собрался.

— Я не собрался.

— Собрался. Мама уже говорит, куда кровлю класть.

Лоуэлл был сухой, как прошлогодний лист, и такой же шелестящий. Он долго разглядывал древооточца через стекло, которое носил на шнурке, трогал его пером, задавал вопросы, на которые я не знал ответа. Потом откинулся на стуле и сказал:

— Порождение. Надо же. Порождающий из Тарвена.

— Это плохо?

— Это редко, — Лоуэлл потёр переносицу. — Когда я служил в Ардейле, у нас в конторе был один порождающий. Делал из воздуха мыльные пузыри. Лопались через три вдоха. Говорили, порождающие медленно разгоняются. Говорили ещё, что если уж разгонятся... — он махнул рукой. — Впрочем, наш не разогнался. Пошёл в наполнители.

— А что такое Эннис?

— Ступень. Первая. — Он посмотрел на меня поверх стекла. — У магов, мальчик, всё по ступеням. Как в церкви по чинам. Эннис, Тиар, Кандел... дальше я не помню, там что-то про факелы и маяки. Названия старые, на мёртвом языке, ими только маги и пользуются. Ты сейчас — Эннис. Все после Камня Эннисы. Наполнители Эннисами и умирают.

— Почему?

— Потому что отдают всё, что есть, каждый день. Искре не из чего расти, — он пожал плечами. — Это не тайна. Это честная сделка. Ты им — силу, они тебе — жизнь без забот.

— А если не в наполнители?

Лоуэлл долго молчал.

— Есть гильдии, — сказал он наконец. — Вольные маги, которые берут работу по найму. Охрана, поиск, всякая дрянь, которую надо убить или найти. Им нужен патент от канцелярии, а патент дают со второй ступени. До неё можно только подмастерьем, если кто-то за тебя поручится, — он постучал пальцем по столу. — В Ардейле гильдий нет. Мелковат. Надо ехать в Истмар.

— Куда?

— Вниз по Ярне. Дней восемь по реке, если плотом. Большой город, мальчик. Очень большой. Там сорок мостов и гильдий больше, чем у нас в Тарвене домов, — он снова взял стекло и посмотрел на древоточца. — И там тебя никто не ждёт. Ты это понимаешь?

Я понимал. Орвин рядом со мной сидел неподвижно и так сжимал край стола, что у него побелели пальцы.

* * *

Управляющий лорда Эшби приехал за лиственницей на седьмой день. С ним были шесть человек с волами и длинными саями. Он обошёл ствол, постучал по нему тростью, поморщился на обломанную вершину, но про вершину отец ему объяснил, и управляющий спорить не стал. Он заплатил сразу, что было на него не похоже. Отцова пятая часть — один ауреон. Золотой, тяжёлый, с профилем кого-то в короне.

Мать взяла его в руки и заплакала. Тихо, без звука, просто по щекам потекло. Я никогда не видел её с золотом. Думаю, она его тоже никогда в руках не держала.

— Сплаваем в Истмар, — сказал управляющий отцу, садясь в седло. — Через четыре дня плот отходит от Бродов. Галту нужны руки, у него двое слегли. Если у тебя кто свободен — пусть подходят, платят на месте.

Он уехал. Я стоял у поленницы и смотрел ему вслед, и сердце у меня билось так, как на Камне.

Разговор случился за ужином. Я знал, что он будет, и все знали, но начала его мать.

— Ты завтра поедешь в Ардейл, — сказала она. — С Джоссом. Подпишешь, получишь ауреон. На два ауреона мы...

— Мам.

— Кровлю целиком. Сапоги всем. Орвина в школу, Лоуэлл говорит, в Ардейле есть, где...

— Мам, я не поеду в Ардейл.

Стало тихо. Даже близнецы замолчали. Мать положила ложку.

— Я поеду в Истмар, — сказал я. — С плотом. Поработаю у Галта, а там — в гильдию.

— В какую гильдию?

— Не знаю. В какую-нибудь.

— Тебя там кто-нибудь ждёт?

— Нет.

— Тебя там убьют, — сказала мать. Голос у неё был ровный, почти спокойный, и от этого ещё страшнее. — Ты знаешь, чем гильдии занимаются? Лоуэлл тебе сказал? Они убивают. И их убивают. Ты хочешь, чтобы я через год получила письмо, как... — она остановилась.

Я знал, как кто. Как та женщина из сторожки, которая ничего не получила, потому что писать было некому.

— Мам, если я подпишу, я навсегда останусь таким, как сейчас. Лоуэлл сказал. Смотритель сказал. Наполнитель не растёт. Я буду трёх жуков выпускать до старости.

— Ты будешь живой до старости!

— Я хочу посмотреть, что будет, если не остановиться.

— А мы? — она показала на стол, на детей, на потолок, с которого капало. — Нам ты что хочешь показать?

Я не знал, что ответить. Потому что она была права. Полтора ауреона в месяц. Каждый месяц. А я сидел и отказывался от них, потому что мне, видите ли, хотелось посмотреть.

— Пусть едет, — сказала вдруг Тэсса.

Все повернулись к ней. Она покраснела, но подбородок не опустила.

— А что? Мы же как-то жили до этого. Не умерли.

— Я тут, — сказал Бренн. — Отец не один будет. Лес не убежит.

Орвин молчал. Потом, очень тихо, не поднимая глаз:

— Полтора ауреона в месяц — это восемнадцать в год. Это очень много, — он помолчал. — Но если он потом не вырастет, это будут всегда восемнадцать. А если вырастет — не знаю сколько. Я не могу посчитать.

— Орвин, — сказала мать.

— Я просто говорю.

Отец не сказал ничего. Он доел, встал, надел куртку и вышел. Мать проводила его взглядом, в котором было всё, что она думала о мужчинах, которые уходят из-за стола, когда нужно решать.

* * *

Утром отец разбудил меня затемно.

— Бери пилу.

Мы пошли в лес вдвоём, без Бренна. Туман лежал в низинах, как молоко в миске. Отец выбрал ель у тропы — не большую, так, на дрова, — и мы молча завалили её. Я выпустил жуков на сучья. Отец смотрел, как они грызут. Потом сел на пень и достал трубку.

— Я всю жизнь рубил чужой лес, — сказал он. — Лорда Эшби лес. До него — отца лорда Эшби. Хороший лес. Не жалуюсь.

Я сел рядом на ствол.

— Мой отец рубил. Его отец. Я думал, и ты будешь, и Бренн, — он повертел трубку. — Бренн будет. А ты, выходит, нет.

— Пап...

— Подпишешь — я слова не скажу. Поедешь — тоже не скажу, — он посмотрел на меня. — Ты ведь уже решил.

— Решил.

— Ну и всё.

— А кровля?

Отец фыркнул.

— Кровлю я двадцать лет перекрываю. Перекрою и на двадцать первый, — он сунул трубку в зубы. — Ты, Тэйн, одно запомни. Тебе всегда кажется, что если ты не потащишь, никто не потащит. Так вот. Потащат. Не надрывайся за всех. Надорвёшься — кто тогда потащит?

Я не понял тогда, что он имел в виду. То есть понял слова, но не понял, про что они. Это заняло у меня потом очень много времени и очень много синяков.

* * *

В последний вечер мать со мной почти не разговаривала. Собирала узел, штопала мне куртку, перебирала рубахи, откладывала, снова брала. Когда все легли, она села у очага с моей курткой на коленях и больше ничего не делала. Просто сидела. Я вышел из-за занавески и сел рядом на пол, спиной к её коленям, как сидел, когда был маленький.

— Я тебе не рассказывала, — сказала она, не глядя на меня. — Про неё.

Я замер.

— Я ей молоко носила, отец говорил. Каждый день, всю ту зиму. Она почти не разговаривала. Только спасибо, и всё. А за неделю до того, как... — мать помолчала. — Она меня за руку взяла. Вот так. Крепко, больно даже. И говорит: если со мной что случится, не отдавай его. Никому. Кто бы ни пришёл и что бы ни сказал.

— Кто-то приходил?

— Нет, — мать провела ладонью по куртке, разглаживая шов, который и так был ровный. — Никто. Восемнадцать лет никто. Я уж думала, она просто... от усталости. Бывает.

Она наконец посмотрела на меня. Глаза у неё были сухие.

— А теперь ты сам уходишь. Туда, где тебя все увидят. С этими твоими жуками.

Я не знал, что сказать. Взял её руку — шершавую, в трещинах от щёлока — и подержал. Она не отняла.

— Пиши, — сказала мать. — Орвин прочитает.

— Буду.

— Каждый месяц.

— Каждый месяц.

— Врёшь ведь.

— Вру, — признался я. — Но постараюсь.

Она фыркнула, почти засмеялась, и шлёпнула меня курткой по голове.

* * *

Плот отходил от Бродов на рассвете. Бродами называли место в миле ниже Тарвена, где Ярна разливалась широко и мелко, а по берегу стояли навесы для сплавщиков. Плот был огромный — брёвна в три ряда, связанные в секции, на корме навес из жердей и парусины. Посередине, среди еловых стволов, лежала наша лиственница. Я узнал её сразу, по обломанной вершине.

Провожали меня все. Мать сунула мне узел с едой, тяжёлый, как камень. Я не стал спрашивать, что там. Кит и Кэдди подарили мне камешек с дыркой — «на удачу, как у Мардж яблоко». Джем плакал, потому что решил, что я уезжаю навсегда, и никакие объяснения не помогали. Тэсса протянула мне варежки — толстые, серые, связанные так плотно, что в них можно было, наверное, держать угли.

— К зиме, — сказала она. — Там же зима тоже будет.

Бренн ткнул меня кулаком в плечо — больно, от души — и сказал только: «Смотри там». Орвин подошёл последним и сунул мне в руки маленькую книжку в картонной обложке и огрызок угольного карандаша.

— Записывай, — сказал он. — Про жуков. Что они умеют, сколько живут. Ты же ничего не запоминаешь, если не записать.

— Запоминаю.

— Ты забыл, что обещал мне в прошлом году нож.

Я открыл рот и закрыл. Он был прав. Я забыл.

Отец подошёл, когда Галт уже кричал с плота, чтобы новенький шевелился. В руках у отца был его топор. Не тот, которым рубили сучья, а другой — хороший, с длинным ясеневым

топорищем, отполированным ладонями до блеска, с лезвием, которое он точил только сам и никому не давал. Этим топором он валил самые большие деревья. Этот топор висел над дверью, когда не был в деле.

Он протянул мне его рукоятью вперёд.

Я смотрел на топор и не брал.

— Пап, это же...

— Бери.

— Тебе же...

— У меня ещё есть. Бери.

Я взял. Топор лёг в руку так, будто всегда там был. Отец смотрел, как я его держу, и кивнул — коротко, как кивал, когда дерево падало туда, куда надо.

— Вернёшь, — сказал он.

Не «если вернёшься». Не «береги себя». Просто — вернёшь. Как будто по-другому и быть не могло.

— Верну, — сказал я.

Галт заорал снова. Я забросил узел на плот, прыгнул следом, и сплавщики оттолкнулись шестами от берега. Течение подхватило брёвна медленно, словно нехотя, и Броды стали отодвигаться. Джем бежал вдоль воды, пока Бренн его не поймал. Мать махала обеими руками. Отец стоял, как тогда у мельницы, неподвижно, и смотрел.

Я держал топор и смотрел на них, пока река не повернула. А когда повернула, сел на бревно, закатал рукав и посмотрел на древоточца. Он спал у меня на запястье, бурый, тусклый, тёплый.

— Ну, — сказал я ему. — Поехали.

Глава 4

Галт был похож на корягу, которую река полвека таскала по перекатам и так и не сумела сломать. Низкий, широкий, седой, с лицом цвета старого седла и голосом, от которого, казалось, сама Ярна сворачивала в сторону. На левой руке у него не хватало двух пальцев. Когда я спросил, как это вышло, он показал мне культю и сказал: «Любопытство». Больше я не спрашивал.

Правил на плоту было три, и Галт изложил их в первый же час.

— Первое. Не падай. Упадёшь между брёвнами — брёвна сойдутся, и от тебя останется блин. Второе. Не спи на краю. Третье. Не спорь со мной, — он оглядел меня с ног до головы. — Лесоруб?

— Да.

— Шест держать умеешь?

— Научусь.

— Научишься, — согласился Галт тоном, из которого было ясно, что он в этом сильно сомневается. — А это что у тебя?

Он смотрел на мой рукав. Древоточец как раз высунул оттуда голову и шевелил усами на ветру.

— Жук, — сказал я. — Мой.

— Твой, — повторил Галт. — Ну-ну.

Кроме Галта, на плоту было ещё шестеро. Дэйви с Бродов, года на три старше меня, весёлый, веснушчатый, с таким запасом похабных песен, что хватило бы на три таких реки. Молчаливый старик Кросс, который за восемь дней сказал, по-моему, слов двадцать, и половина из них была «шест». Два брата-близнеца из-под Ардейла, одинаковые, как два полена от одного чурбака. И ещё двое, которых я так и не научился различать.

Работа была простая и тяжёлая. Ярна несла плот сама, и нашим делом было не дать ей донести его куда не надо: на мель, на камни, в заводь, где плот мог встать на неделю. Мы стояли вдоль краёв с длинными шестами и упирались ими в дно, когда Галт кричал «Право!» или «Лево!» Иногда дно было близко, иногда шест уходил в воду целиком, и тогда оставалось только надеяться.

К вечеру первого дня у меня болели плечи — не так, как от топора, а по-другому, по-новому, в тех местах, о существовании которых я раньше не подозревал. Спина, почти зажившая, снова заныла. Древоточцы сидели у меня на рукаве в ряд, как воробьи на жерди, и смотрели на воду.

Ночевали на плоту, под навесом на корме. Галт выставлял дежурного, и тот сидел у фонаря — обычного, масляного, — и смотрел, чтобы плот не сорвало с якоря. Остальные спали вповалку на брёвнах, на подстеленных шкурах. Брёвна подо мной покачивались. Внизу, совсем близко, журчала вода.

Во вторую ночь я наконец развязал материнский узел.

Хлеб. Сыр, завёрнутый в тряпицу. Круг копчёной колбасы — такой у нас дома не бывало, разве что на Долгую ночь. Сушёные яблоки, наверняка от Мардж. Луковицы. А на самом дне, в отдельном тряпичном узелке, завязанном тугим узлом, — два серебряных сола.

Я долго сидел, держа их на ладони. В жестяной коробке после Ардейла оставался один сол, я это знал точно. Значит, золотой от управляющего мать всё-таки разменяла у Джосса — а я своими глазами видел, как она прятала его на кровлю. Два сола из двадцати. Кровля над близнецами стала на два сола меньше.

Я хотел рассердиться и не смог. Сунул монеты обратно в узелок, завязал и положил под голову. Потом достал книжку Орвина и карандаш. Сел поближе к фонарю дежурного и открыл первую страницу.

Писал я плохо. Буквы у меня выходили кривые и разного роста, как молодой ельник, и Лоуэлл, когда учил нас с Бренном, говорил, что таким почерком только долговые расписки писать — никто не прочтёт, и платить не придётся. Но я написал. Медленно, прикусив язык.

«Жуки. Живут, пока держу. Держать — тянет. Устал — тускнеют. Поел — светят. Трое — можно. Четвёртый рвётся. Кусают. Кит плакал. Грызут: палец — десять вдохов, два пальца — двадцать, рука — долго. Через бревно слышно всё».

Подумал и дописал: «Отпускать — как бревно с плеч».

Дежурил в ту ночь Кросс. Он смотрел, как я пишу, и ничего не говорил. Потом, когда я закрыл книжку, вдруг кивнул на мой рукав.

— Светит, — сказал он.

Это было, наверное, пятое слово за два дня.

— Светит, — согласился я.

Кросс подумал.

— Красиво, — сказал он и отвернулся к воде.

* * *

Про Истмар мне рассказывал в основном Галт. Точнее, Галт рассказывал Дэйви, а я слушал, потому что Дэйви задавал все вопросы, которые я стеснялся задать.

— Мостов там сорок, — говорил Галт, — и под каждым своё. Верхний город — это на холмах, там купцы, лорды, всё чистое, стража в перчатках. Нижний — у воды, доки, склады, кабаки. Тебе, — он ткнул пальцем в Дэйви, — туда, в Нижний, больше некуда. Тебе, — палец повернулся ко мне, — тоже.

— А гильдии где?

— Где хочешь, — Галт пожал плечами. — Везде. Мелкие — по кабакам сидят, ждут, кто позовёт крыс травить. Крупные — у себя в домах. А главная — на Шпиле.

— На каком Шпиле?

— «Высокий Шпиль». Башня такая, на самом верху Верхнего города, её с реки за день видно. У них там свой дом, своя стража, своё всё. Лучшие маги Севера, — Галт сплюнул за борт. — Говорят. Я их видел пару раз. Ходят в синих куртках со шпилем на груди и смотрят на тебя так, будто ты им сапог испачкал.

— А сильные они? — спросил Дэйви.

— Мой шурин, — сказал Галт. — Вozил однажды на барже одного ихнего. Кандела. Так тот на третий день разозлился на комаров и спалил их. Всех. Над всей рекой. Шурин говорит, небо на полмили было как решето, и дымом пахло, а сам Кандел даже не вспотел.

— А что такое Кандел? — спросил я. Это слово я слышал второй раз и снова не понимал.

— Да пёс их знает, — Галт отмахнулся. — Ступень какая-то. У них слова свои, на старом языке. Кандел, Фаэр, Тиар... Как собачьи клички. Я запоминал, чтобы знать, кому шапку снимать.

Я вытащил книжку и записал: «Кандел — сильнее. Комаров над рекой». Дэйви заглянул мне через плечо и заржал.

— А ещё, — сказал Галт, помолчав. — Под Старым мостом кто-то живёт.

— В смысле?

— В прямом. Старый мост — он огромный, древний, ещё до Империи строили, опоры как башни. Там в опорах комнаты какие-то, склады раньше были. И вот там, говорят, гильдия. Или не гильдия, — он поморщился. — Шпана какая-то с магией. Туда не суйся. Мне один лодочник рассказывал, что у них там по ночам в окнах то зелёный свет, то красный, то вообще ничего, а потом кого-то вылавливают ниже по течению.

— Кого?

— А я знаю? Главное — не тебя.

* * *

Волчье Горло мы прошли бы на пятый день, если бы оно было свободно.

Это место на Ярне называли так потому, что река там сужалась между двумя каменными кручами, и посередине, прямо из воды, торчали два камня, острые, как клыки. Плоты проходили между ними по одному, осторожно, на шестах и на канатах с берега. Галт рассказывал про Горло два дня, и всякий раз, когда он про него говорил, у него дёргалась культия на левой руке.

Когда мы вышли из-за поворота, Галт выругался так, что замолчал даже Дэйви.

Горло было забито.

Кто-то прошёл его перед нами неудачно. Может, ночью, может, в тумане. Секции плота разошлись, брёвна поплыли россыпью, и одно из них — толстое, еловое — встало поперёк, между двумя клыками. А за ним начали застревать остальные. Одно, второе, десятое. Когда мы подошли, между камнями громоздилась гора из брёвен выше человеческого роста, перепутанных, как спички в коробке, которую уронили. Вода ревела под ней и сквозь неё. Затор скрипел, стонал и медленно рос: река приносила всё новые брёвна.

Мы встали на якорь выше по течению, у берега. Галт долго стоял на носу, глядя на затор. Потом повернулся к нам.

— Ключ, — сказал он и показал.

Я видел, о чём он. Толстое еловое бревно, которое держало всё остальное. Оно было зажато между камнями косо, одним концом глубоко в расщелине, другим — под грудой брёвен. Если убрать его, затор рухнет. Весь сразу.

— И кто полезет? — спросил один из братьев.

Никто не ответил. Лезть на затор значило стоять на куче брёвен, которые вот-вот поедут, и рубить то единственное, что их держит. Когда ключ лопнет, у тебя будет, может быть, вдох, чтобы отпрыгнуть. На Ярне, рассказывал Галт, на этом месте за сто лет погибло больше сплавщиков, чем от всех остальных порогов вместе.

— Ждать, — сказал Кросс.

— Сколько ждать? — Галт повернулся к нему. — Неделю? Две? Пока затор сам не пойдёт? Или пока лёд не встанет? Нам ещё три дня до Истмара, а мне за каждый день простоя управляющий вычтет из вас.

— Можно с берега, — сказал Дэйви. — Канатом зацепить, лошадей...

— Каких лошадей, дурья голова? Где ты тут лошадей видишь?

Я смотрел на ключ. От берегового выступа, на который можно было спуститься по камням, до его ближнего конца было шагов двадцать. Может, двадцать пять.

Я закатал рукав. Три древоточца смотрели на меня, шевеля усами.

— Галт, — сказал я. — Дай попробовать.

Галт посмотрел на меня. Потом на жуков. Потом снова на меня.

— Жуками?

— Они дерево грызут.

— Бревно? Ключ? Это ель в два обхвата, парень.

— Грызут медленно, — признал я. — Но им не надо на затор лезть. Им надо только добраться. А я буду на берегу.

Дэйви захохотал. Один из братьев тоже. Галт не смеялся. Он смотрел на меня долго, так же, как отец смотрел на крону, — прикидывая, куда ляжет.

— С берега, — сказал он наконец. — Ни шагу на брёвна. Если затор пойдёт — бежишь вверх по камням, про жуков забываешь. Понял?

— Понял.

Он кивнул Кроссу. Кросс, не говоря ни слова, спустил лодку.

* * *

Береговой выступ оказался мокрым и скользким, но широким. Я сел на него, упёрся спиной в скалу и посмотрел на затор. Отсюда он казался ещё больше. Брёвна скрипели, вода редела так, что приходилось кричать. Кросс сидел в лодке у меня за спиной, держась за камень багром.

Я выпустил жуков на воду. То есть на брёвна — на те, что лежали ближе к берегу, — и отправил их к ключу. Лететь они толком не умели: взлетали, пролетали шаг-другой, тяжело шлёпались на кору. Но ползли быстро. Я видел, как три бурые точки пробираются по мокрым стволам, огибают сучья, перебираются через щели, в которых кипела вода. Сердце у меня колотилось в горле.

Добрались. Все трое.

Я закрыл глаза.

И затор ворвался в меня целиком.

Это было не как с лиственницей. Лиственница лежала спокойно, как спящий. Затор был живой. Каждое бревно давило на соседнее, и я чувствовал это давление так, как чувствуешь в собственных плечах тяжесть, когда несёшь груз. Вода била снизу, толкала, трясла, и дрожь шла по всей куче волнами. Где-то глубоко, почти у дна, бревно тёрлось о камень, и этот звук отдавался у меня в зубах. А ключ... Ключ стоял посреди всего этого, как отец, упёршийся ногами в землю, когда мы вдвоём держали падающий ствол. Он держал всё. И он устал. Я чувствовал, где он устал сильнее всего: в одном месте, в полутора шагах от расщелины, давление сходилось в точку, и древесина там была натянута, как тетива.

Туда.

Я открыл глаза — меня сразу замутило — и отправил жуков к этой точке. Они сползли к ней с трёх сторон и вгрызлись.

Это было долго. Невыносимо долго. Бревно в два обхвата — не сук в руку. Жуки грызли, а я сидел на камне и чувствовал, как натягиваются нити. Каждый укус стоил мне. Чем дальше были жуки и чем тяжелее работа, тем туже тянуло под грудиной. Двадцать шагов, мокрые брёвна, ревушая вода — держать их через такое было как нести воду в решете: половина проливается мимо. Я держал. Под грудиной становилось холоднее и холоднее. Руки начали дрожать. Мне страшно хотелось есть.

Раза три я открывал глаза, чтобы проверить, и каждый раз видел одно и то же: три бурые точки на огромном еловом бревне и светлую стружку, которую тут же смывала вода. Выемка росла. Медленно, по ногтю.

— Долго ещё? — крикнул сзади Кросс. Это было, наверное, самое длинное, что он сказал за всю дорогу.

— Не знаю!

Я закрыл глаза снова. Ключ стонал. Давление в той точке стало другим — не натянутым, а ломким, как у сухой ветки перед тем, как её переломить через колено. Ещё немного. Ещё чуть-чуть.

Затор вздрогнул.

Я почувствовал это раньше, чем услышал. Всё вокруг ключа будто вздохнуло разом. И тогда я закричал жукам «назад» — не голосом, а той нитью, что тянулась от меня к каждому из них. Двое сорвались с места и побежали к берегу. Третий не успел.

Ключ лопнул с треском, похожим на выстрел. Затор пошёл.

Я видел это глазами, уже открытыми: вся гора брёвен разом сползла, провалилась, развалилась, как поленница, из которой выдернули нижнее полено. Грохот стоял такой, что заложило уши. Брёвна переворачивались, встали дыбом, ушли под воду и вынырнули ниже, а над всем этим поднялся фонтан брызг выше скал. Двое моих жуков выскочили на камень у самых моих ног, мокрые, тусклые, но целые.

А третий...

Я почувствовал его в тот миг, когда на него легло бревно. Не боль. Рывок. Как если бы та невидимая нить, что тянулась от моей груди к нему, была привязана к рыболовному крючку, а крючок сидел у меня в голове, и кто-то дёрнул за леску. В глазах вспыхнуло белым. Я качнулся, Кросс схватил меня за шиворот и не дал свалиться в воду. Что-то тёплое потекло из носа по губе.

Потом нить оборвалась. Жук не умер — умирать ему было нечем. Бревно просто разорвало плетение, и бурые нити разлетелись и погасли в брызгах, как искры над костром. А отдача от этого разрыва прошла по нити обратно и ударила в меня.

— Живой? — Кросс тряс меня за плечо.

— Живой, — я вытер нос рукавом. На рукаве осталась кровь. — Жука развеяло.

Кросс посмотрел на затоп — вернее, на то место, где он был. Ярна шла между клыками свободно, широко, волоча за собой остатки брёвен вниз по течению.

— Одного, — сказал Кросс. — Одного жука.

Он сказал это так, как отец говорил «моё дело было». Я не сразу понял, что это была похвала.

Вечером, уже на плоту, я сплёл третьего заново. Он вышел таким же, как всегда: бурым, в кольцах, с тяжёлыми жвалами. Бревну нечего было у меня отнять — кроме капли крови и немного сил.

* * *

Галт заплатил мне в Истмаре, как и обещал, шесть солов за дорогу. А потом, отсчитав, сунул ещё два.

— За ключ, — сказал он. — И не спорь. Правило третье.

Я не стал спорить.

— Весной, — сказал Галт, уже отворачиваясь. — Если твои гильдии тебя не сожрут, приходи на Броды. Мне такой каждую весну нужен. С жуками.

— Я подумаю.

— Не подумаешь, — он хмыкнул. — У тебя лицо не того. Ну-ну. Удачи, жук.

Истмар я увидел на восьмой день, в сумерках.

Сначала — огни. Река сделала широкую петлю, мы вышли из-за поворота, и впереди, по обоим берегам, на холмах, загорелись огни — сотни, тысячи. Не жёлтые, как у нас в окнах. Холодные, бело-голубые, ровные, как тот фонарь в Ардейле, только их было столько, что они сливались в нити, в ожерелья, в целые реки света вдоль набережных. Потом из темноты выступили стены, крыши, башни. Мосты — один, второй, пятый, и все в огнях, как в бусах. Над всем этим, на самом высоком холме, стояла башня. Тонкая, светлая, выше всего остального, с огнём на самой верхушке, словно звезда, которую кто-то привязал к шпилью, чтобы не улетела.

— Шпиль, — сказал рядом Дэйви. Даже у него голос был тихий.

А ниже, почти у воды, поперёк реки лежал другой мост. Огромный, тёмный, древний. Его опоры и правда были как башни — широкие, приземистые, из почерневшего камня. В опорах светились окна. Не холодным эфирным светом — жёлтым, тёплым, живым, как свечи. В одном окне, мне показалось, свет мигнул зелёным. А может, показалось.

Галт посмотрел туда же и ничего не сказал. Только сплюнул в воду.

* * *

Нижний город ночью был как Ардейл на ярмарке, только в десять раз больше, в десять раз громче и в сто раз грязнее. Я шёл по улицам с топором на плече и узлом за спиной и не понимал, куда смотреть. Везде люди. Люди, которые кричали, пели, ругались, торговали, целовались в подворотнях и дрались прямо посреди мостовой. Я видел моряков с кожей тёмной, как кора дуба, и с кольцами в ушах. Видел женщину с синими узорами, нарисованными прямо на лице.

Видел человека в роскошном красном плаще, который шёл, не глядя под ноги, и толпа сама раздвигалась перед ним. Над дверью одного кабака висел эфирный фонарь в форме рыбы, и рыба медленно шевелила светящимся хвостом.

Дэйви на прощание дал мне адрес. «Кривой Гвоздь, в Сапожном тупике, за рыбным рынком. Дёшево и не режут. Почти». Я искал его, наверное, час. Дважды свернул не туда. Один раз на меня налетел мальчишка и, пока я извинялся, попытался залезть мне в узел. Древоточец, сидевший у меня на плече, прыгнул ему на руку. Мальчишка взвизгнул и исчез в толпе так быстро, будто его и не было.

«Кривой Гвоздь» оказался низким, прокуренным залом с закопчённым потолком и столами, изрезанными ножами. Место на лавке у стены — четыре клиппа. Миска рыбной похлёбки — три. Я заплатил за то и за другое и сел в угол, спиной к стене, топор между колен.

Я ел и слушал. Рядом, за соседним столом, сидели трое в потрёпанных кожаных куртках, с оружием и таким видом, будто им всё на свете надоело. Наёмники, решил я. Или гильдейцы. Я ещё не знал, как их различать.

— ...по средам, — говорил один. — Шпиль по средам новичков смотрит. Завтра, значит.

— И что, всех смотрят?

— Смотреть-то всех. Берут единиц. Мой кузен ходил. Тиар, между прочим. Сказали — приходи, когда до Кандела дорастёшь.

— Да там одни Академия. У них кровь.

— У всех кровь.

— У них другая, — первый засмеялся. — Голубая.

Я вытащил книжку Орвина и записал: «Шпиль. Среда. Завтра». Подумал и добавил: «Кандел. Узнать».

Мимо проходила подавальщица — крупная женщина с руками прачки и полотенцем на плече. Я поймал её за рукав.

— Простите. Что такое Кандел?

Она посмотрела на меня. На мою куртку, на мой топор, на древоточца, который как раз выбрался из рукава и сидел на краю миски. И засмеялась. Не зло — устало, как смеются над ребёнком, который спросил, откуда берутся облака.

— Милый, — сказала она. — Если ты спрашиваешь, значит, не ты.

Она ушла. Я сидел над остывающей похлёбкой и смотрел в окно. В узкой щели между крышами был виден кусок неба, а в нём, далеко наверху, — огонь на верхушке Шпиля. Ровный. Холодный. Он висел там, над всем этим шумом, грязью и вонью рыбного рынка, и было в нём что-то такое, от чего у меня под грудиной снова стало тепло.

Завтра среда.

Вот куда мне нужно, подумал я. И даже не заметил, как произнёс это вслух.

Глава 5

Жуков я сплёл на рассвете, во дворе «Кривого Гвоздя», у колонки, пока все ещё спали. На ночь я их отпускал — так было легче спать, и каждое утро начиналось с того, что я вытягивал ладонь и смотрел, как из неё тянутся бурые нити.

В то утро получилось не сразу. Нити шли вяло, путались, одна лопнула на середине, и мне пришлось начинать виток заново. Я не выспался, и это было видно по ним: все трое вышли чуть тусклее обычного.

Я достал книжку и записал вчерашнее, про Волчье Горло: «Жука можно развеять. Бревном. Нить рвётся — как крючок в голове. Кровь из носа. Потом сплетаешь нового — такой же». Подумал и дописал: «Не забывать».

Потом я умылся ледяной водой из колонки, почистил куртку, как мог, и долго тёр песком топорщице. Зачем — не знаю. Наверное, хотелось, чтобы хоть что-то на мне блестело.

* * *

Верхний город начинался там, где кончалась вонь рыбного рынка. Мостовая стала ровнее, улицы — шире, дома — выше и белее. У первого же поворота на подъём стояли двое стражников в серых плащах и кожаных перчатках, и один из них проводил меня взглядом таким долгим, что я почувствовал его затылком. Галт не соврал: стража здесь и правда ходила в перчатках.

Я шёл вверх и глазел по сторонам, как дурак, и ничего не мог с этим поделать. Здесь были лавки, где за стеклом лежали вещи, назначения которых я не понимал. Были экипажи, которые катились сами, без лошадей, тихо гудя, а на запятках у каждого светился голубой кристалл. Был фонтан, вода в котором поднималась вверх, закручивалась в спираль и падала обратно, ни капли не выплёскивая за край. Люди здесь говорили тише и одевались ярче. Никто не ругался. Никто не дрался. На меня смотрели так, как смотрят на лужу посреди улицы: мельком, обходя.

На одной площади стояло длинное каменное здание с высокими узкими окнами и синей вывеской: «Имперская Служба Наполнения. Истмарское отделение». Окна были такие большие, что я увидел зал. Длинный, светлый, во всю длину здания. В нём рядами стояли столы, а на каждом столе — кристалл величиной с голову. Кристаллы соединялись друг с другом медными полосами, как звенья цепи. А за столами сидели люди. Мужчины, женщины, молодые, старые, в одинаковых серых куртках. Каждый держал ладони на своём кристалле. Сидели тихо, неподвижно, некоторые с закрытыми глазами. Кристаллы под их руками медленно наливались светом.

Батарея, понял я. Вот она такая.

Они не выглядели несчастными. Одна женщина у окна что-то рассказывала соседу, не отрывая рук от кристалла, и тот смеялся. Пожилой мужчина в дальнем конце жевал яблоко. Было тепло, чисто, светло. Ханна сейчас, наверное, сидела вот так же, в Ардейле, на Соляной. И была довольна.

Договор с синей печатью лежал у меня за пазухой. Я чувствовал его сквозь рубаху. Потом отвернулся и пошёл дальше вверх.

* * *

Высокий Шпиль вблизи оказался не одной башней, а целым домом. Башня росла из середины белого здания, окружённого стеной, как стебель из цветка. Над воротами был выбит знак — тонкий шпиль в круге, — а у ворот стоял привратник в синей куртке с тем же знаком на груди. Он спросил, что мне нужно. Я сказал, что пришёл на испытание. Привратник посмотрел на мой топор.

— Оружие оставишь здесь.

— Это не оружие. Это топор.

— Вот и оставишь.

Я отдал. Он поставил топор в стойку, где уже стояли мечи, копьё и один очень красивый лук, и мой топор среди них выглядел, как Пуговица среди скаковых коней.

Во дворе ждали человек пятнадцать. Я сразу понял, что выгляжу среди них хуже всех. Не беднее — хуже. Бедные тоже были: парень в латаной куртке, девица с обветренным лицом и мозолистыми руками. Но даже они стояли так, будто знали, зачем пришли. Остальные были... другие. Трое юношей и девушка в одинаковых тёмных плащах с серебряной застёжкой в виде раскрытой книги стояли отдельно и тихо разговаривали на словах, которых я наполовину не понимал. Высокий светловолосый парень моих лет был с слугой. Слуга держал его перчатки.

— Академия, — сказал кто-то рядом со мной вполголоса. Это была девица с мозолями. Она кивнула на тех, что в плащах. — Ученики. Их берут почти всегда.

— А он? — я показал на светловолосого.

— А он Вэлмонт, — она хмыкнула. — Его возьмут всегда.

Её звали Рия. Она была с хутора под Истмаром, с другого берега, и приходила на испытание уже второй раз.

— В прошлом году сказали — приходи через год, — объяснила она, разглядывая свои руки. — Я и пришла. Год прошёл.

— А что ты умеешь?

Она огляделась, потом раскрыла ладонь. На ладони, прямо на мозолях, затлела искра — маленькая, красная, как уголёк из трубки. Подержалась и погасла.

— Раньше было две, — сказала Рия. — Теперь три бывает. Если разозлиться.

— Это хорошо?

— Это «приходи через год», — она сжала кулак. — Ты первый раз?

— Первый.

— Тогда слушай. Не спорь. Не шути. Не смотри на галереи. Там по средам собираются смотреть, как нас... — она замялась, подбирая слово. — Смотреть. У них это вроде развлечения. Среда — день смеха, так у них говорят. Я слышала.

— Зачем тогда ты пришла второй раз?

Рия посмотрела на меня так, будто я спросил, зачем люди едят.

— А куда ещё?

Я не нашёлся, что ответить. Куда ещё, я знал. У меня за пазухой лежал ответ с синей печатью.

Клерк у дверей переписал наши имена. Когда я назвался — «Тэйн, из Тарвена», — он спросил: «Из какого Тарвена?» — и, не дождавшись ответа, записал просто «Тарвен».

Потом нас повели внутрь.

* * *

Круглый зал был сердцем Шпиля — прямо под башней. Высокий, светлый, с галереями по стенам в два яруса. Потолка не было видно: зал уходил вверх, в башню, и где-то очень высоко там горел тот самый огонь, который я видел с реки. Отсюда он казался ближе и ещё холоднее. Пол был выложен белым и синим камнем в виде огромного круга. Вокруг круга стояли люди. Много людей.

Я не сразу понял, кто они. Потом понял: члены гильдии. Синие куртки, синие плащи, синие ленты. Кто-то стоял внизу у стен, кто-то облокотился на перила галерей. Человек пятьдесят, может, больше. Они пришли посмотреть. Среда, день испытаний, развлечение.

В центре круга стоял парень лет двадцати трёх. Высокий, тонкий, красивый той лёгкой красотой, которая бывает у людей, никогда не таскавших брёвен. Тёмные волосы собраны в хвост. На синей куртке — серебряный шпиль и ещё какой-то знак, три вертикальные черты. Он стоял, заложив руки за спину, и смотрел на нас без всякого выражения. Как на погоду.

— Лориан Хейз, — шепнула Рия. — Кандел. Он всегда испытывает.

Кандел, подумал я. Комары над рекой.

Лориан Хейз вызывал нас по одному. Задавал вопросы — коротко, быстро, почти не слушая ответов. Потом говорил: «Покажи». И кандидат показывал.

Академисты показывали хорошо. Первый зажёл над ладонью шар белого огня и заставил его разделиться на три, и три шара кружили у него над головой, пока он не хлопнул в ладоши. Девушка в плаще подняла с пола камешек, не касаясь, и провела его по воздуху через весь зал. Им хлопали. Лориан кивал и говорил: «Хорошо. Подождите справа».

Парень в латаной куртке умел делать руки твёрдыми, как дерево. Он ударил кулаком в каменную колонну, и от колонны отлетел кусок, а кулак остался цел. Лориан посмотрел на колонну, потом на парня и сказал: «Ступень?» — «Эннис». — «Учитель?» — «Нет». — «Приходи через год. Когда будет хоть что-то, кроме кулаков». Тот ушёл, стиснув зубы. Ему тоже похлопали, но не так.

Рию вызвали сразу после него. Она вышла в круг, вытянула руку и разозлилась — я видел, как у неё побелели скулы. На ладони затлели три искры. Одна подпрыгнула, как блоха, и погасла в воздухе.

— Ступень? — спросил Лориан.

— Эннис.

— Учитель?

— Отец мой кузнец.

— Приходи через год.

— Я уже приходила через год.

Лориан впервые посмотрел на неё внимательно. Секунду, не больше.

— Значит, приходи ещё через год, — сказал он. — Следующий.

На галерее кто-то хмыкнул. Рия вернулась к стене с таким прямым лицом, что на него было больно смотреть.

Потом вызвали Вэлмонта. Светловолосый вышел в круг неторопливо, будто прогуливался. Лориан задал ему свой первый вопрос, и я увидел, как у того чуть приподнялся угол рта.

— Ступень?

— Тиар.

По залу прошёл шёпот. Я не понимал почему, но понимал, что это что-то значит.

— Тиар в восемнадцать, — медленно сказал Лориан. Впервые за всё утро в его голосе прозвучало что-то вроде интереса. — Быстро.

— Хорошая кровь, — сказал Вэлмонт.

— Да, — сказал Лориан, и между ними, на один миг, мелькнуло что-то вроде понимающей усмешки. — Хорошая кровь. Покажи.

Вэлмонт поднял руку, и воздух вокруг него зазвенел, как стекло. Я не понял, что он сделал. Понял только, что Лориан кивнул, а зал зааплодировал так, как не аплодировал никому.

Я стоял и пытался понять, как это: только что прошёл Камень — и уже на второй ступени. Как Бренн, который родился на два года раньше меня и потому был выше и сильнее. Но Бренн был старше. А Вэлмонт — нет.

Я запомнил это. Просто запомнил — как запоминают трещину в стволе, которую пока не время колоть.

— Тэйн, — сказал Лориан, глядя в список. Помолчал. — Тарвен.

* * *

Я вышел в круг. Белый и синий камень под ногами был гладкий, как лёд на пруду. Вокруг было очень тихо, и в этой тишине я вдруг услышал, как у меня в рукаве шевелятся жуки.

Лориан оглядел меня. Куртку, сапоги, руки. Руки задержали его взгляд чуть дольше — мозоли, наверное.

— Ступень?

— Я прошёл Камень девять дней назад.

— Значит, Эннис. Учитель?

— Нет.

— Академия?

— Нет.

— Чутьё?

Я не понял вопроса.

— Что?

По залу пробежал смешок. Лориан подождал, пока он стихнет.

— Чутьё, — повторил он, как ребёнку. — Покров. Закалка. Общие навыки. Есть?

— Я не знаю, что это.

Смешок стал громче.

— Боевой опыт?

— Нет. — я подумал. — Затор на Волчьем Горле разобрал.

Кто-то наверху, на галерее, фыркнул так громко, что это услышали все, и теперь засмеялись по-настоящему.

— Рекомендации? Патент? Кто-нибудь, кто за тебя поручится?

— Нет.

— Итого, — сказал Лориан, обращаясь не ко мне, а к залу, — Эннис. Без учителя. Без навыков. Без опыта. Без поручителя. Ранг нулевой, — он снова повернулся ко мне и сделал лёгкий жест рукой. — Покажи.

Я закатал рукав и выпустил жуков.

Они сползли на ладонь один за другим — три бурых, светящихся изнутри, в кольцах. Я поднял руку, чтобы их было видно. В зале стало тихо, но это была не та тишина, что после шаров огня. Это была тишина, в которой люди переглядываются, прежде чем засмеяться.

— Это что? — спросил Лориан.

— Жуки.

— Вижу. Что они делают?

— Грызут, — сказал я. — Дерево. И кусают. И через них можно...

Я не договорил. Кто-то на галерее сказал «грызут» таким голосом, что засмеялись сразу в нескольких местах.

— Порождение? — уточнил Лориан.

— Да.

— Покажи, как они летают.

Я подумал «лети». Все трое сорвались с ладони и полетели.

Если это можно было назвать полётом. Древоточцы не созданы для воздуха — ни настоящие, ни мои. Они поднялись неуклюже, тяжело, кренясь набок, как телега, у которой отваливается колесо. Один сразу рухнул на пол и пополз, делая вид, что так и задумал. Второй сделал круг над моей головой и сел мне на макушку. Третий полетел вперёд, прямо, упрямо, набирая скорость, и я не успел его остановить.

Он врезался Лориану Хейзу в лицо.

Не сильно. Шлёпнулся на щёку, как жёлудь с дуба, и тут же сорвался и упал ему на воротник. Лориан дёрнулся. На щеке у него остался маленький красный след.

Зал взорвался.

Хохотали почти все. Академисты, Вэлмонт, привратник в дверях. Кто-то на галерее согнулся пополам и держался за перила. Кто-то хлопал себя по колену. Кто-то кричал: «Нападение! Нападение на Кандела!» Я стоял посреди круга с жуком на макушке, и лицо у меня горело так, будто я сунул его в кузнечный горн.

Лориан снял древоточца с воротника двумя пальцами — осторожно, брезгливо, как снимают паука — и бросил его мне. Я поймал. Потом Лориан посмотрел вниз, туда, где по полу полз третий жук.

Он наклонился и взял его.

— Любопытно, — сказал он, поднимая жука к глазам. — Сплетено... довольно грубо. Но держится, — он повернул жука в пальцах. Жук сучил лапками. — Давай посмотрим, насколько.

И сжал пальцы.

Я почувствовал это раньше, чем увидел. Не боль сначала — рывок. Та же леска, тот же крючок в голове. Только в Волчьем Горле было бревно, тупое и тяжёлое, а тут — пальцы, точные и спокойные. Лориан не раздавил жука. Он его распустил. Я видел, как нити расползаются у него между пальцами, бурые, светящиеся, как они разматываются, повисают в воздухе клочьями паутины и медленно гаснут, будто искры над костром.

Крючок дёрнули. В глазах вспыхнуло. Меня качнуло, и я едва устоял. Из носа потекло — тёплое, солёное — по губе, на подбородок. Я поднёс руку к лицу и посмотрел на ладонь. Кровь.

Лориан отряхнул пальцы от последних угасающих нитей.

— Порождающий на Эннисе, — сказал он залу. Спокойно, почти лениво. — Три жука и насморк.

Если до этого смеялись, то теперь зал грохотал. Это было как затор, когда ключ лопнул: волна, которая идёт сама, и её уже не остановить. Смех падал на меня с галерей, катился от стен, бился о купол. Кто-то кричал: «Грызут! Они грызут!» Кто-то: «Пусть он нам мебель поточит!» Кто-то: «Эй, Лориан, тебе платок подать?» — и все хохотали, и Лориан тоже чуть улыбнулся.

— Иди в лесорубы, — сказал он мне, уже без улыбки. — Или в батарейки. Там тебе самое место.

И отвернулся.

* * *

Я стоял и не мог сдвинуться с места.

Мне хотелось ударить его. Честно. Так сильно, как ни разу в жизни не хотелось ударить человека. Я видел его затылок, тёмный хвост, синюю куртку и думал, что если сделать три шага и размахнуться, то это будет, наверное, последнее, что я сделаю в этом городе, но зато это будет хорошо. Руки у меня сжались сами. Жаль, что топор отобрали у ворот. Нет. Хорошо, что отобрали.

Я не ударил. Не потому, что был умнее. Потому что в этот момент, среди всего этого смеха, я вдруг услышал другое. Тихое, холодное, очень честное.

Он прав.

Эннис. Без учителя. Без навыков. Без опыта. Без поручителя. Я не знал, что такое Чутьё. Я не знал, что такое Покров. Я не знал даже, что значит «Кандел», пока подавальщица не засмеялась мне в лицо. Я пришёл сюда с тремя жуками и топором и думал, что этого достаточно, потому что в Тарвене этого было бы достаточно. Это был не Тарвен.

Он был прав, а смеялись они потому, что это было смешно. Парень из деревни. Жук на макушке. Кровь из носа. Я бы и сам смеялся.

Вот это было больнее всего. Не смех. Не жук, растёкшийся нитями. А то, что под всем этим смехом была правда, и спорить с ней было нечем.

Я вытер нос рукавом. Снял жука с макушки. Посадил обоих себе на запястье, опустил рукав. Потом повернулся и пошёл к двери. Идти было далеко — через весь круг, мимо академистов, мимо Вэлмонта, мимо Рии, которая не смеялась, а смотрела на меня как-то странно, будто жалела. Этого я вынести не мог и отвёл глаза.

И тогда, уже у самой двери, я поднял голову и увидел его.

Наверху, на второй галерее, у перил, стоял человек. Седой, в синем, как и все, но не в куртке, а в длинном плаще. Он не смеялся. Он вообще не смотрел на меня. Он смотрел вниз,

в центр круга, туда, где Лориан распустил моего жука. Там ещё висели в воздухе последние бурые нити, тонкие, почти прозрачные, — гасли одна за другой. Седой смотрел на них долго, дольше, чем стоило смотреть на то, что вот-вот исчезнет.

Потом последняя нить погасла. Он поднял глаза, и мне показалось, что на один миг наши взгляды встретились.

Мне, наверное, показалось.

* * *

Топор мне вернули у ворот без единого слова. Привратник ещё улыбался.

Когда я вышел, начался дождь. Не такой, как дома, мелкий и упрямый, а городской, тяжёлый, с запахом камня и дыма. Я шёл вниз, с холма, по улицам, которые утром казались мне чудом, а теперь казались просто очень длинными. Фонтан со спиралью. Экипажи без лошадей. Лавки с непонятными вещами. Всё это было не моё. Никогда не было моим. Я просто ошибся дверью.

У здания Службы Наполнения я остановился.

Зал за окнами уже почти опустел. Смена кончилась. Люди в серых куртках надевали плащи, прощались, смеялись. Женщина, которая утром рассказывала что-то соседу, теперь стояла у дверей и раскрывала зонт. Зонт. У наполнителя из Службы был зонт. У меня не было даже шапки.

Я достал договор. Бумага намокла по краям, синий сургуч блестел под дождём. «Подписывается в любой конторе Службы в течение месяца». До конца месяца оставалось три недели. Полтора ауреона. Ауреон сразу. Кровля. Сапоги. Орвин в школе.

Дверь конторы была в десяти шагах. Над ней горел эфирный фонарь.

Я постоял. Потом убрал договор обратно за пазуху, туда, где было сухо. Не потому, что передумал. Просто нельзя было подписывать такое мокрыми руками, с кровью под носом. Надо было завтра. Утром. Умытым. Как человек.

* * *

В «Кривом Гвозде» было шумно, дымно и тепло. Я сел в свой угол, заказал похлёбку и не стал её есть. Высыпал на стол деньги из кошель и пересчитал. Девять солов и пять клиппов. Если спать на лавке и есть один раз в день, хватит недели на три. А дальше что?

Дальше ничего. Дальше Галт на Бродах весной. Или контора с синей вывеской. Или домой, к отцу, с его топором и тремя жуками, которых там все уже видели. «Ну что, как город?» — спросит Бренн. «Большой», — скажу я. И всё.

Подавальщица — та самая, что вчера смеялась над Канделом, — прошла мимо, остановилась и посмотрела на мою нетронутую миску. Потом на мой нос, где засохла кровь. Потом, не говоря ни слова, поставила рядом со мной кружку горячего вина с мёдом.

— Я не заказывал.

— Знаю, — она вытерла руки о полотенце. — Со Шпиля?

Я кивнул.

— Они всех так. Каждую среду, — она пожала плечами. — Пей. Это не милостыня. Это от заведения, за то, что ты тут ничего не разбил. Среда же, после Шпиля обычно бьют.

Я хотел отодвинуть кружку. Потом вспомнил Бренна, хлеб под ложкой и «ешь». Выпил. Было сладко и горячо, и немного отпустило.

Я открыл книжку Орвина. Долго смотрел на пустую страницу. Потом написал: «Шпиль. Нет». Подумал, что надо написать что-то ещё, но не придумал. Закрыл.

Жуки сидели на краю миски — двое — и смотрели на меня узелками света. Оба были тусклые: я был пуст и голоден, и они светились тем, что во мне осталось. Я заставил себя съесть похлёбку. Ложку за ложкой. К последней жуки налились светом и тихо, еле слышно зазвенели, как натянутые нитки.

— Завтра пойду в контору, — сказал я им. — Подпишу.

Ближний жук шевельнул усами.
Так я решил. Твёрдо, окончательно, как отец решает, куда валить дерево.
Решение продержалось до полуночи.

Глава 6

Около полуночи «Кривой Гвоздь» начал пустеть. Наёмники за соседним столом ушли, громко споря о какой-то барже. Пьяный в углу уснул лицом в миске, и подавальщица, проходя мимо, вытащила миску у него из-под щеки, не разбудив. Кто-то наверху топал и ругался. Я лежал на своей лавке у стены, с топором под боком и узлом под головой, и смотрел в закопчённый потолок.

Решение подписать договор лежало во мне, как камень на дне колодца. Тяжёлое, холодное и правильное.

А вокруг камня плавало всё остальное.

Лицо Лориана, когда он сжал пальцы. Рия со своими тремя искрами, которая придёт и через год, и ещё через год, потому что «а куда ещё». Вэлмонт, в восемнадцать уже Тиар, — и эта их общая, понимающая усмешка: хорошая кровь. Седой на галерее, который смотрел на гаснущие нити. Женщина в сером, которая велела записать «устойчивое». Двое из них видели в моём жуке что-то, чего не видел я. Остальные пятьдесят видели жука.

Я думал о том, что скажу отцу. «Пап, я подписал. Полтора ауреона в месяц. Кровлю перекроем». Он кивнёт. Он слова не скажет, как и обещал. А потом посмотрит на топор, который я ему верну, — раньше, чем кто-нибудь из нас думал, и ничего не скажет снова. И это молчание будет хуже любого слова.

Может, я и правда идиот, подумал я. Не потому, что пришёл на Шпиль. А потому, что до сих пор не могу отпустить то, что там случилось.

Я сел, достал книжку Орвина и на последней странице, где не было записей про жуков, начал письмо домой. Писать было неудобно — на коленях, при огарке, который подавальщица оставила на соседнем столе.

«Мама, папа. Я в Истмаре. Тут сорок мостов, как Лоуэлл говорил. Я был на Шпиле. Меня не взяли. Завтра я подпишу...»

Я остановился. Перечитал. «Завтра я подпишу». Слова стояли кривые, разного роста, как всегда, но почему-то казались чужими. Как будто их написал кто-то другой, а я только подглядывал.

Я зачеркнул «завтра я подпишу». Потом зачеркнул «меня не взяли». Потом посмотрел на то, что осталось: «Мама, папа. Я в Истмаре. Тут сорок мостов». Это была правда. Больше правды у меня пока не было.

Я закрыл книжку, встал, взял топор и вышел.

* * *

Ночной Истмар был другим. Шум не стих, но сдвинулся: из больших улиц ушёл в подворотни, в кабаки, в окна верхних этажей. Над водой висел туман, и эфирные фонари на набережной светили сквозь него размытыми голубыми пятнами, как луны. Я шёл вдоль реки, не думая куда. Просто шёл, потому что сидеть было невозможно.

У самой воды, на пустом причале, я остановился и достал договор. Туман оседал на бумаге мелкими каплями. Синий сургуч в свете фонаря казался чёрным. Я держал договор над водой и думал, как было бы просто разжать пальцы. Река унесёт, и выбора больше не будет. Никакого. Ни туда, ни сюда.

Я не разжал. Не из трусости, наверное. Просто отец никогда не бросал в реку то, что ещё может пригодиться. Я сложил договор вчетверо и сунул обратно за пазуху.

Ноги сами несли меня вниз по течению. Туда, где из тумана поднималась тёмная громада Старого моста. Я видел его опоры — широкие, приземистые — и жёлтые окна в одной из них. Не знаю, зачем я туда шёл. Наверное, из того же упрямства, из-за которого не мог уснуть. Галт сказал «туда не суйся». Вот я и шёл.

До моста я не дошёл.

За рыбным рынком, где улицы превращались в путаницу переулков между складами, я слышал звук. Звук, который ни с чем не спутаешь, если хоть раз слышал его в деревне в праздничную ночь, когда парни из Тарвена сходились с парнями из-за реки. Глухой удар. Выдох. Ещё удар. И смех — нехороший, сытый.

Я остановился у поворота и заглянул в переулок.

Их было четверо. Нет, пятеро — один стоял поодаль, у стены, и смотрел, сложив руки. Четверо окружили кого-то пятого, и он стоял на одном колене, упираясь рукой в мостовую. Худой, в тёмной куртке. Лица я не видел. Видел только, как один из четверых размахнулся ногой и пнул его в бок, и тот согнулся, но не упал.

— Ну что, умник? — сказал пнувший. — Выследил?

Я не знал, кто они. Не знал, за что его бьют. Может, за дело. В Нижнем городе, говорил Галт, за дело бьют чаще, чем просто так. Но четверо на одного, который уже не встаёт, — это не дело. В Тарвене за такое отец брал за шиворот и макал в поилку. Всех, включая меня, если я был среди них.

Я не принял решения. Решение просто оказалось у меня в руках — вместе с топором, который я перехватил за обух, топором вперёд. Рубить людей я не собирался. Но ясеневое топориче длиной в руку — это тоже не соломинка.

— Эй, — сказал я.

Они обернулись. Все пятеро. И тот, на колене, тоже поднял голову — и я увидел лицо. Молодое, острое, с разбитой губой. И, как ни странно, улыбающееся.

— О, — сказал он. — Подкрепление.

* * *

Я дрался много. В деревне все дерутся. Но я никогда не дрался всерьёз, в темноте, против людей, которые хотели меня покалечить. Разница открылась мне сразу, в первые три вдоха.

Первый бросился на меня с дубинкой. Я не успел подумать — рука сама подняла топориче, как поднимала его сотни раз, отбивая падающий сук. Дубинка стукнула о ясень, отскочила, и я ткнул его торцом топорича в живот. Не сильно. Так, как толкаешь бревно, чтобы оно скатилось с козел. Он согнулся и сел.

Второй был умнее. Он не бросился, а обошёл сбоку, и в руке у него блеснуло. Нож. Я увидел его слишком поздно — и тут он споткнулся. Потому что парень на колене, про которого все забыли, вдруг оказался на ногах. Я даже не видел, как он встал. Просто в одном месте его не стало, а в другом он возник — у ножовщика за спиной, — и ножовщик полетел лицом в стену.

— Слева, — сказал парень мне. Спокойно, как будто просил передать соль.

Я повернулся влево, и там был третий. Он ударил, я закрылся плечом — удар пришёлся по той же спине, по свежей ссадине, и у меня потемнело в глазах. Но я был лесорубом. Меня сорок раз в жизни било ветками, брёвнами, падающими сучьями, и я до сих пор стоял. Я ухватил третьего за ворот — просто за ворот, как хватаешь мешок с мукой, — и швырнул. Он пролетел два шага и врезался в четвёртого. Оба упали.

Парень с разбитой губой уже стоял рядом. У него в руке был короткий нож, но он держал его странно — лезвием к себе, рукоятью вперёд. Бил рукоятью. Быстро, точно, в те места, от которых человек не умирает, но долго не может встать. Он двигался так, будто заранее знал, куда шагнёт противник. Каждый раз оказывался на полшага в стороне от удара. Каждый раз.

Через десять вдохов четверо лежали на мостовой. Кто-то стонал. Кто-то уже пытался отползти.

Я стоял, тяжело дыша. Спина горела. Руки тряслись — не от страха, от того огня, который бывает в теле после драки, когда ещё не остыл.

— Неплохо для деревенского, — сказал парень, вытирая кровь с губы. — Ты откуда такой взялся?

— Из Тарвена.

— Не знаю, где это, — он улыбнулся. — Но спасибо.

И тогда пятый, тот, что стоял у стены, сложив руки, наконец отлепился от неё.

* * *

Он был невысокий. Крепкий, короткостриженный, с тяжёлым подбородком и пустыми светлыми глазами. Одет в длинную кожаную куртку, а поперёк груди, от плеча к бедру, у него шла перевязь. Я сначала подумал — перевязь для арбалетных болтов. Потом увидел, что в гнёздах торчат не болты. Шипы. Железные, длиной в палец, заточенные с обоих концов. Десятки.

— Шип, — сказал парень рядом со мной. Совсем другим голосом. Без улыбки.

Человек у стены не ответил. Он просто поднял руку.

И шипы вышли из перевязи. Сами. Один за другим, с тихим металлическим шелестом, как пчёлы из летка. Они поднялись в воздух и повисли вокруг него — десять, пятнадцать, двадцать, — остриями к нам. Покачивались. Поворачивались. Слегка звенели, касаясь друг друга. Я смотрел на них и не мог отвести глаз.

До этого я видел магию только на Камне и на Шпиле. Иней на ладони Ханны. Шары огня. Камешек, плывущий по воздуху. Всё это было красиво и удивительно. Иногда даже весело.

Здесь не было ничего веселого. Двадцать кусков заточенного железа, висящих в воздухе, и человек, у которого в глазах не было вообще ничего. Он смотрел на нас так, как отец смотрел на бревно, которое надо расколоть. Не злобно. Деловито.

Я понял тогда, в один миг, то, что до этого знал только словами. Иметь магию и уметь ею убивать — это две совершенно разные вещи. Я имел магию. Он — умел.

— Назад, — сказал парень. — За меня.

Шип махнул рукой.

Я не увидел, как они полетели. Увидел только, что парень рядом со мной качнулся — вправо, влево, пригнулся, — и воздух вокруг него зазвенел. Что-то рвануло мне рукав. Что-то вжикнуло у самого уха. Я отшатнулся к стене, и в ту же секунду шип вошёл в доску двери у моей головы — глубоко, по самую середину, и дрожал там, гудя.

Парень стоял. Невредимый. Вокруг него на мостовой лежали шипы — пять, шесть, — и ещё несколько торчали из стен. Он увернулся от всех. Я не понимал как. Это было невозможно.

Шип поднял руку снова. Шипы, лежавшие на мостовой, дрогнули и поднялись. Вернулись к нему, в воздух. Все, кроме того, что сидел в двери у моей головы.

— Долго так будешь, Сорен? — спросил Шип. Голос у которого был ровный и скучный. — Я — долго.

— Сколько тебе платят? — спросил Сорен. Он говорил легко, почти весело, но я видел, как он следит за каждым шипом. — Портовые? Или уже кто повыше?

— Мне платят достаточно. — Шип чуть повернул голову. — А тебе? Уна совсем обнищала, что посылает мальчишек по одному? Без Варда-то.

— Уна меня не посылала. Я сам пришёл.

— Тем хуже для Уны.

Я не знал, кто такая Уна и кто такой Вард. Но по тому, как у Сорена на миг дёрнулась щека, понял, что Шип попал.

— Вард вернётся, — сказал Сорен. — Повторишь ему.

Шип не ответил. Только шипы у его плеча чуть качнулись назад, как собаки, которые слышали чужой голос.

Парень не ответил. Я видел, что он дышит тяжело. Видел, что на рукаве у него расплзается тёмное пятно — значит, не от всех увернулся. Он сделал шаг вперёд — и шипы тут же развернулись к нему, сошлись стеной. Ещё шаг — и они ударят. Все сразу.

Он не мог подойти. Шип не мог его достать. Но у Шипа было время, железо и ещё двадцать заточенных игл в перевязи. А у парня — кровь на рукаве.

— Эй, деревенский, — сказал парень, не оборачиваясь. — Если умеешь что-то кроме палки — самое время.

Я умел.

Я сунул руку в рукав. Три древоточца. Двух я держал с утра, третьего сплёл заново на закате, когда не мог сидеть на месте. Я выпустил одного на ладонь.

Лететь он толком не умел. Я знал это. Поэтому я не стал просить его лететь. Я просто размахнулся и бросил его, как бросают камешек по воде. Низко, сбоку, в тень у стены, где Шип не смотрел.

Древоточец ударился о камень, покатился, встал на лапы и побежал. По мостовой, вдоль стены, в темноте. Бурый на тёмном, которого было почти не видно. Только еле заметное свечение в кольцах на спинке, которое я прикрыл, как мог: попросил его, мысленно, потускнеть и он сделал это.

При этом, я даже не знал, что так, вообще, было можно.

Шип смотрел на парня. Шипы висели между ними. Древоточец добрался до его сапога. Вскарabкался по голенищу. По полам куртки. По спине, по перевязи, между гнёзд с железом. Я следил за ним с закрытыми глазами и чувствовал кожу куртки, жёсткую, холодную, и ремни, и шершавое железо.

А потом я почувствовал то, чего никогда раньше не чувствовал.

Шип собирался ударить. Я не видел этого — я это знал. Через лапки жука, через нить, которая тянулась от него ко мне. Внутри Шипа что-то сжималось. Будто кто-то наматывал верёвку на ворот, ту же и ту же, и верёвка звенела от натяжения. Это было тепло, и оно было чужое. Тяжёлое, холодноватое, с привкусом железа. Оно стекалось откуда-то из середины его груди к правой руке, к пальцам, к шипам, которые висели в воздухе и ждали. Ещё мгновение — и верёвка сорвётся с ворота.

Он соберёт всё. Все двадцать шипов. Разом, со всех сторон. От такого не увернётся никто. — Сейчас ударит! — крикнул я парню. — Всеми!

И древоточцу, через нить, так, как кричат «береги голову» в лесу, когда падает дерево: «Кусай».

Древоточец вцепился Шипу в шею. Под самым ухом, туда, где кончался воротник.

Шип заорал. Не от боли даже — от неожиданности. Рука дёрнулась к шее. И то, что сжималось в нём, сорвалось — не туда. Двадцать шипов, которые должны были ударить в одну точку, рванулись каждый в свою сторону. Один ушёл в небо. Два — в стену. Три — в мостовую, выбив искры. Остальные пошли вкривь и враспырку, как горох из лопнувшего мешка.

Парня там уже не было. Я даже не видел, как он двинулся. Просто в один миг он стоял в пяти шагах от Шипа, а в следующий — был у него за спиной. Рукоять ножа ударила Шипа в основание черепа. Коротко, сухо, как обух по полену.

Шип упал. Лицом вниз, как мешок. Шипы, висевшие в воздухе, дрогнули и осыпались на мостовую — все разом, с оглушительным железным звоном, словно кто-то уронил поднос с ножами.

А древоточец...

Шип хлопнул себя по шее, когда падал. Ладонью. Со всей силы.

Я почувствовал это. Рывок. Крючок в голове. Та же отдача, что в Волчьем Горле. Жука не раздавило — давить в нём было нечего. Его просто развеяло: ладонь Шипа разорвала плетение, и бурые нити брызнули из-под пальцев, как искры из-под молота, и погасли, не долетев до мостовой.

Я качнулся. Упёрся в стену. Из носа потекло.

Потом я отлепился от стены и сделал то, что делал теперь каждое утро. Вытянул ладонь. Нити пошли медленно, путаясь. Руки у меня тоже тряслись, вместе с магическими нитями, но я пересилил себя и сделал, что хотел. Сначала контур. Лапки. Кольца на спинке. Через

тридцать вдохов на ладони у меня снова сидел древоточец, такой же, как тот, что только что укусил Шипа, — бурый, светящийся, с тяжёлыми жвалами. Шипу было нечего у меня отнять. Только силы. А силы ушли почти все: под грудиной стало холодно, как в погребке.

Я сел на мостовую рядом с человеком, который только что пытался меня убить, и почему-то не мог перестать улыбаться. Из носа капала кровь. Руки тряслись. Мне хотелось есть так, будто я не ел неделю.

Жуки не умирали. Я понял это там, на мостовой, окончательно, хотя догадывался и раньше, с Волчьего Горла. Их нельзя было убить, потому что в них не было жизни — только плетение и моя нить. Их можно было развеять. Порвать. Сбить, как сбивают пламя со свечи. Но пока во мне оставалось хоть что-то, я мог зажечь свечу снова. Платил за это не жук. Платил я — и, как выяснилось потом, иногда слишком дорого.

* * *

— Никогда такого не видел, — сказал голос рядом.

Парень присел на корточки напротив меня. Он деловито связывал Шипу руки за спиной тонким шнуром, который достал откуда-то из рукава, и при этом смотрел не на Шипа, а на жука у меня на ладони.

— Ты сплёл нового, — сказал он. — Прямо сейчас. После такого.

— Привычка.

— Хорошая привычка, — он затянул узел, проверил, затянул ещё раз. — Как ты узнал? Что он всеми ударит?

— Почувствовал. Через жука.

Парень перестал вязать.

— Через жука? — переспросил он.

— Он сидел на нём. На Шипе. И я почувствовал, как у него внутри... — я не знал, как сказать. — Как верёвку на ворот наматывают. Туже, туже. А потом — всё. Сорвётся.

Парень смотрел на меня долго. Совсем не так, как смотрели на Шпиле. Потом хмыкнул и снова занялся узлом.

Он полез за пазуху, покопался и вытащил что-то, завёрнутое в промасленную бумагу. Развернул. Там оказался кусок медового пирога, раздавленный в лепёшку и, кажется, уже неделю как чёрствый.

— На. Ты зелёный весь.

— Не надо, я...

— Ешь, — сказал он тем же тоном, каким говорил «слева». — После такого всегда жрать охота. Я знаю. Съешь — полегчает.

Я хотел отказаться. Правда хотел. Но руки сами взяли пирог, а зубы сами откусили, и через три укуса его не стало. Он был каменный, приторный и самый вкусный в моей жизни. Под грудиной, где было холодно, как в погребке, стало чуть теплее.

— Сорен, — сказал он, не поднимая головы.

— Что?

— Меня так зовут. Сорен.

— Тэйн.

— Тэйн из Тарвена. Помню, — он затянул последний узел и поднялся. Пятно на рукаве у него стало больше, но он, кажется, этого не замечал. — Слушай, Тэйн из Тарвена. У меня на этого красавца контракт. Уже месяц за ним хожу. Думал, сегодня выследил. А выследили, как видишь, меня, — он пнул Шипа носком сапога. Не сильно, скорее для порядка. — Так что половина — твоя. Ну, может, не половина. Треть. Иса скажет, сколько.

— Кто такая Иса?

— Та, кто считает деньги.

— А Уна?

— Уна за старшую. Пока Вард не вернётся, — Сорен посмотрел на меня сверху вниз, на мой топор, на древоточца, на кровь под носом. — Ты ведь не местный. И не наш. Из какой ты гильдии?

— Ни из какой.

— А на Шпиль ходил?

Я промолчал. Сорен не стал переспрашивать. Он, видно, прочитал ответ у меня на лице. Или просто знал, что такое среда на Шпиле.

Где-то далеко, за складами, засвистели. Коротко, трижды. Потом ещё раз, ближе.

— Стража, — сказал Сорен. — Идут на шум. Вовремя, как всегда.

Я огляделся. Переулок был пуст. Четверо, которых мы уложили, успели куда-то деться, пока все смотрели на шипы: остались только брошенная дубинка и тёмное пятно у стены.

— А эти? — спросил я.

— Эти пусть бегут, — Сорен пожал плечами. — За них никто не платит. Завтра они найдут себе нового хозяина, а послезавтра я найду их. Работа такая.

Он нагнулся, ухватил Шипа за шиворот и одним рывком закинул себе на плечо — легко, как будто тот ничего не весил. Я даже не успел удивиться, откуда в таком худом парне столько силы. Потом он посмотрел на меня.

— Слушай. Если ты всё равно ищешь гильдию...

Он не договорил. Не потому, что передумал. Просто улыбнулся — разбитой губой, криво — и кивнул в сторону реки. Туда, где из тумана выступала тёмная громада Старого моста, и в одной из опор, низко над водой, горели жёлтые окна.

— Пошли, — сказал Сорен.

Глава 7

— В стражу не понесём, — сказал Сорен, когда я спросил. — У Шипа в страже друзья. К утру его отпустят.

— А куда тогда?

— Домой. Заказчик сам за ним придёт. Утром.

Он нёс Шипа на плече, как свёрнутый ковёр. Шипы он собрал все до одного, даже тот, что засел в двери у моей головы, ссыпал в кожаный мешок и отдал мешок мне. Мешок звякал на каждом шагу.

— Ты не боишься, что он очнётся? — спросил я.

— Боюсь, — Сорен улыбнулся. — Поэтому иду быстро.

Мы шли вдоль реки. У кабака на углу курили двое; увидев Сорена, оба ушли внутрь. Сорен шёл легко, почти беззвучно, а я топал рядом, как лошадь рядом с кошкой. На рукаве у него чернело пятно, но он так на него и не посмотрел.

— Как ты это делаешь? — спросил я наконец. — Там, в переулке. Ты уходил от всех.

— Не от всех, — он кивнул на рукав. — От одного не ушёл.

— Зато от девяти. Или сколько их там вообще было?

Сорен помолчал.

— Я вижу, куда двинется то, что движется, — сказал он. — Чуть раньше, чем оно движется. На полвдоха. Иногда на вдох, если отдохнул. Не будущее, нет. Только движение. Руку, которая замахивается. Шип, который полетит. Я вижу, как они начинают — а потом просто оказываюсь в другом месте.

— Это же...

— Здорово? — он хмыкнул. — Здорово, пока их не двадцать сразу. Полвдоха на одну иглу — это много. Полвдоха на двадцать — ничего. Если бы он ударил всеми, как ты сказал... — он пожал плечом, и Шип на нём застонал.

— Ты Кандел? — спросил я, вспомнив подавальщицу.

— Тиар, — сказал Сорен. — Вторая ступень. Кандел у нас Бо, а выше... — он покосился на меня. — Выше, может, кто и есть. Спроси сам. Только не за обедом.

— Почему не за обедом?

— Потому что за обедом у неё в руке половник.

— На Шпиле тебя Хейз смотрел?

— Лориан.

— Лориан, — Сорен произнёс это имя так, будто пробовал на вкус что-то прокисшее. — И что, «три жука и насморк»?

Я остановился.

— Откуда ты знаешь?

— Угадал. У него на каждую среду такая шутка, — Сорен пожал свободным плечом. — Я четыре года назад туда ходил. Мне было девятнадцать, я только-только Тиара взял, сам, на улице. Меня даже в круг не пустили, — Он улыбнулся, но не так, как в переулке. — Привратник спросил: откуда? Я сказал: с Кожевенной. Он посмотрел в бумажку: «С Кожевенной по средам не принимают». А по каким? «Ни по каким».

Мы пошли дальше.

— Так что тебе ещё повезло, — сказал Сорен. — Тебе хоть посмеяться дали.

* * *

Старый мост вблизи оказался ещё больше, чем с реки. Пролёты уходили в туман, опоры вставали одна за другой — тёмные, изъеденные водой, как бока быков на водопое. Наверху даже ночью грохотали колёса, глухо, как гром из-за леса.

Сорен свернул на узкую каменную лестницу к самой воде. Внизу, у подножия опоры, шёл каменный выступ шириной в два шага. Ярна неслась вокруг опоры водоворотами, брызги долетали до лица.

— Седьмая, — сказал Сорен, кивнув на опору.

На камне, прямо над дверью, кто-то давно вывел белой краской большую цифру «VII», теперь облупленную. Дверь была дубовая, толстая, окованная железом, и выглядела так, будто пережила штурм.

У двери была привязана старая лодка с облезлой синей краской; она покачивалась и стучалась бортом о камень.

Сорен ногой постучал в дверь. Три раза, пауза, два раза.

— Гильдия Седьмой Опоры, — сказал он, пока мы ждали. — Так в реестре. Только так нас никто не зовёт.

— А как зовут?

— «Эти, из-под моста», — Сорен усмехнулся. — Иногда хуже.

Дверь открылась.

* * *

Не знаю, чего я ожидал. Наверное, что-то вроде Шпиля, только поменьше. Светлый зал, синие куртки.

Я же увидел вот что.

Большую комнату с круглыми стенами — внутренность опоры, выдолбленную в камне. Потолок низкий, сводчатый, закопчённый. Посередине стоял стол — длинный, на полтора десятка человек, не меньше. Завален он был только с одного края: бумаги, кружки, огрызки, какое-то железо и один сапог без пары. На дальнем краю лежала пыль, ровная, как снег, по которому никто не ходил. По стенам — полки, на полках — всё что угодно: книги, банки, мотки верёвки, чучело совы с одним глазом. У очага булькал огромный котёл, и пахло из него так, что защипало в глазах. Капуста. И ещё что-то, горелое. И ещё что-то, чего я не мог назвать и не хотел.

На продавленном диване у стены спал человек. Огромный — больше отца, больше всех, кого я видел. Он лежал на спине, закинув ноги на бочку, и храпел так, что звенели кружки на столе. Одна рука у него свисала до пола, и пальцы на ней были толщиной с черенок лопаты.

За столом, в круге света от лампы, сидела женщина. Худая, остроносая, с чёрными волосами, стянутыми в такой тугой узел, что, казалось, от него болела голова. Перед ней лежала книга с ровными столбиками цифр. Она подняла глаза, увидела Сорена с Шипом на плече и сказала:

— Ты пошёл один.

— Доброй ночи, Иса.

— Ты пошёл один на Шипа. После того, как я сказала тебе не ходить одному на Шипа.

— И вот он, — Сорен похлопал Шипа по спине. — Связанный. Контракт закрыт.

— А если бы тебя убили? — Иса даже не повысила голос. — Кто вернул бы рыбакам задаток? Ты? Мёртвый? Знаешь, сколько стоит похоронить человека в Нижнем городе?

— Не знаю.

— Сорок клиппов. Без камня. С камнем — два сола, — она ткнула пером в книгу. — Я бы тебе камень не поставила.

Я стоял в дверях с мешком шипов и не знал, куда деваться. И тут под полом что-то бухнуло.

Не громко. Так, как бухает в очаге, когда туда попадает сырое полено. Пол вздрогнул. С полки упала банка. Из щели в углу повалил дым — густой, зелёный, как болотная тина. А за ним по лестнице, кашляя, поднялся старик.

Маленький, сгорбленный, в прожжённом кожаном фартуке. Седые волосы стояли дыбом, будто их кто-то поднял изнутри. Бровей у него не было. Совсем. Судя по розовой коже над глазами, ещё утром они были.

— Ничего! — сказал он, разгоняя дым руками. — Ничего не случилось! Не надо никуда бежать!

Никто никуда и не бежал. Иса снова уткнулась в книгу. Огромный человек на диване перевернулся на бок и захрапел ещё громче.

— Корр, — сказал Сорен, не оборачиваясь. — У тебя брови.

— Что брови?

— Их нет.

Старик потрогал лоб, нащупал пустое место и расстроено вздохнул.

— Опять, — сказал он и ушёл обратно в дым.

Я стоял посреди всего этого — великан, столбики цифр, зелёный дым под сводом, котёл — и думал одно.

«Что это за помойка?»

Наверное, у меня это было написано на лице. Иса подняла глаза — в первый раз по настоящему — и сказала спокойно:

— У тебя на лице все написано, — хмыкнула она и повернулась к Сорену: — Это кто?

* * *

— Это кто? — спросил и другой голос, от очага.

Я не заметил её сначала. Она стояла у котла, спиной к нам, и помешивала варево длинным половником. Женщина. Немолодая — лет шестьдесят, а может, и больше. Широкая, как дверь, в которую мы вошли, в тёмном платье с закатанными рукавами. Две толстые седые косы спускались по спине почти до пояса. Руки у неё были красные, крупные, как у прачки.

Она не обернулась. Просто стояла и мешала. Но в комнате стало как-то тише. Даже Иса перестала скрипеть пером.

— Тэйн, — сказал Сорен. — Из Тарвена. Помог мне с Шипом.

— Помог, — повторила женщина.

— Без него я бы не справился.

Женщина наконец обернулась. Лицо у неё было широкое, морщинистое, с тяжёлыми веками и маленькими, очень светлыми глазами. Она посмотрела на Сорена. Потом на пятно на его рукаве. Потом на меня: на топор, на мешок, на засохшую под носом кровь.

— Бо, — сказала она.

Великан на диване открыл глаза — мгновенно, будто и не спал — и сел.

— Отнеси это вниз, — она кивнула на Шипа. — В сухую. И дверь запри.

Бо встал. Потолок сразу стал ещё ниже. Он взял Шипа у Сорена одной рукой, как кошку за шкурку, и ушёл к лестнице, не сказав ни слова. Лестница под ним заскрипела так, что я испугался за неё.

— Ты, — женщина ткнула половником в Сорена. — Руку покажи Корру. Потом мне.

— Уна, это царапина...

— Руку. Корру.

Сорен вздохнул и пошёл к лестнице, в зелёный дым.

А она повернулась ко мне.

— Садись, — сказала Уна. — Ешь.

Во главе стола стоял единственный в комнате стул — тяжёлый, с высокой спинкой; остальные сидели на лавках. Я было шагнул к нему.

— Не туда, — сказала Иса из-за книги.

Я сел на лавку. На этот стул, как я потом узнал, не садился никто. Даже Бо, который садился на всё, включая бочки и однажды — на Корра.

* * *

Похлёбка была ужасная.

Однажды зимой мы с Бренном заблудились в лесу и два дня жевали еловую кору. Но такого я не ел никогда. Капуста в этой похлёбке была разварена до состояния тряпки. Что-то горелое плавало сверху. Что-то твёрдое лежало на дне, и я не решился узнать, что именно. Соль была. Её было слишком много.

Я съел всё. Уна, не спрашивая, налила ещё — я съел и это. А здесь было горячее, и много, и никто не спросил, есть ли у меня деньги.

Уна сидела напротив и смотрела, как я ем. Молча. Когда я доел вторую миску и отодвинул её, она кивнула — коротко, как кивают, когда что-то подтвердилось.

— Никто не доедает, — сказала она. — Вторую — никто.

— Вкусно, — соврал я.

— Не ври. Невкусно, — она не обиделась. — Но ты голодный. Много отдал сегодня?

— Много.

— Покажи, чем.

Я закатал рукав. Три древоточца сидели на запястье — бурые, светящиеся, в кольцах. Один, тот, что я сплёл над Шипом, был чуть тусклее остальных: на него ушли последние крохи.

Уна наклонилась. Смотрела долго. Не как Лориан — с безразличным интересом. И не как Смотритель в Ардейле — с жалостью. Она смотрела так, как отец смотрит на незнакомое дерево. Прикидывая.

— Древоточцы, — сказала она. Осторожно, одним пальцем, тронула тусклого. Жук даже не дернулся. — Давно ты их держишь?

— Этого — только что сплёл. Шип развеял прежнего. Двух других — с утра.

— С утра, — повторила Уна. — А на ночь?

— Отпускаю. Утром сплетаю заново.

— И весь день держишь троих, — она не спрашивала. — Не устаёшь?

— Устаю. Немного. Как жердь на плече носишь.

Уна подняла на меня глаза.

— Сколько тебе дней от Камня?

— Девять. Нет, десять уже.

— Десять, — сказала она и больше ничего. Но что-то в её лице изменилось — одной складкой у рта, как менялось у отца.

Сорен вернулся из дыма с перевязанной рукой. Корр, без бровей, шёл за ним и что-то бормотал про «чистый порез, повезло, полпальца левее — и жила». Он заметил, куда я смотрю, — а смотрел я вверх, на свод над пустым стулом. Там в камне была вмятина: круглая, гладкая, с тележное колесо, будто кто-то ударил кулаком в сырую глину, только глина была гранитом.

— Вард, — сказал Корр. — Поспорил с Горстом.

— О чём?

Корр подумал.

— Уже никто не помнит.

Сорен сел рядом, заглянул в мою пустую миску и присвистнул.

— Две, — сказал он Уне.

— Две, — согласилась она.

— Он через жука почуял, что Шип ударит всеми, — сказал Сорен. — Крикнул мне. Жук укусил. Шип сорвался. Я его взял.

Уна встала, подошла к стене и положила ладонь на балку. Я только сейчас разглядел, что внутри опоры, среди камня, стоят брусья — огромные, почерневшие, толщиной с отцовскую лиственницу.

— Дуб, — сказала Уна. — Старый. Сваи от него идут вниз, до самого дна реки. Мост стоит на них триста лет, — она постучала по балке костяшками. — Посади сюда своего жука.

Я посадил одного из тех, что держал с утра. Древоточец вцепился в дуб, и я закрыл глаза.

Дуб был огромный. Он уходил вниз, в темноту, в воду, в холодный ил, и там, внизу, я чувствовал, как бьётся о него река — ровно, тяжело, бесконечно. Он уходил вверх, через камень, туда, где над опорой шёл мост, и по мосту грохотала телега — я чувствовал каждый оборот её колёс. А по сторонам от него, как ветки от ствола, расходились балки, полы, лестницы, двери.

— Наверху, — сказал я, не открывая глаз. — Над нами. В комнате кто-то ходит.

— Кто? — спросила Уна.

— Не знаю. Человек. Тяжёлый, — я прислушался. — Нет, не тяжёлый. Хромает. Левая нога бьёт слабее. Ходит от стены к стене.

— А внизу?

— Внизу... — я потянулся туда, по брускам вниз. — Двое. Один лежит. Второй стоит у двери. Большой, — я потянулся дальше, туда, где брус уходил в холодное и мокрое. — И ещё один. У самой воды. Сидит. Не шевелится.

Я открыл глаза. Меня мутило. Комната качалась.

Сорен смотрел на меня, открыв рот. Иса перестала писать. Корр, который стоял у лестницы, медленно потрогал свою левую ногу.

— Наверху — это Корр ходил, пока Сорену руку мотал, — сказала Уна. — Он хромает на левую, с тех пор как в прошлом году упал в собственную яму. А внизу Бо стережёт Шипа, — она сняла моего жука с балки и положила мне на ладонь. — Через дуб, через камень, через три пролёта.

— Это плохо? — спросил я.

Про третьего она ничего не сказала. И на мой вопрос не ответила.

Внизу, у самой воды, стукнула дверь, и по лестнице поднялся человек. Под пятьдесят, в мокрой до колен куртке, с седой щетиной на тяжёлом лице. Я сначала увидел руки: огромные, с узлами на пальцах, как корни, которые река вымыла из берега. Он прошёл к дальнему краю стола, туда, где лежала пыль, и сел в самый угол. Уна молча налила ему миску.

Он ел медленно, ни на кого не глядя. Иса договорила Сорену про задаток вполголоса. Корр у лестницы перестал бормотать. Один раз человек поднял голову и посмотрел на меня — недолго, так, как смотрят на реку, прикидывая, поднимется ли к утру вода. Ни слова. Доел, поставил миску и ушёл вниз. Дверь у воды закрылась.

— Дорн, — сказал Сорен тихо, хотя его уже не было. — Живёт внизу.

— Он тоже...

— Тоже наш.

Больше он ничего не добавил. Уна села на своё место напротив меня и сложила руки на столе. Большие, красные руки прачки.

— Зачем ты пришёл в Истмар?

Я рассказал. Всё. Про Камень, про Смотрителя, про полтора ауреона в месяц. Про отцовский топор. Про Шпиль, про Лориана, про три жука и насморк. Само вышло. Может, из-за того, как она слушала: не перебивая, не кивая, просто глядя.

Когда я закончил, она протянула руку.

— Договор.

Я достал его, помятый и влажный. Уна прочитала и сложила обратно.

— Месяц, — сказала она. — Три недели осталось. Держи при себе. Уйти можешь в любой день. Здесь не Служба. Мы никого не держим.

— А меня... возьмут? — я смотрел на неё. Так смотрят на того, кто решает.

Уна почему-то посмотрела не на меня, а на пустой стул во главе стола.

— Я не глава, — сказала она. — Я дом держу. Пока Вард не вернётся.

— Тот, который поспорил с Горстом?

— Гильдмастер, — сказала Иса, не поднимая головы. — Роан Вард. Ушёл прошлой весной за Серый хребет. С ним Горст и Нэлла, — она перевернула страницу. — В книгу я тот контракт не записывала. Такой контракт.

— А когда он вернётся?

Никто не ответил. Потом Корр сказал от лестницы, как говорят о погоде:

— В конце лета пришла записка. Его рукой. Одно слово: «Живы».

— Так что решаю я, — сказала Уна. — За него. Пока.

— И кого тут брать? — Иса наконец оторвалась от своей книги. — Эннис без патента. Без учителя. Без навыков. Нам лишний рот не нужен, у нас и так...

— Я поручусь, — сказал Сорен.

Стало тихо. Даже Корр у лестницы замер.

— Ты понимаешь, что это значит? — спросила Уна. Не меня. Сорена.

— Понимаю.

— Скажи вслух.

Сорен вздохнул.

— Если он что-то натворит — отвечаю я. Если он кого-то подставит — отвечаю я. Если он что-то сломает, украдёт или подожжёт...

— Если он погибнет по глупости, — сказала Уна. — Тоже ты.

Сорен посмотрел на меня. Потом на неё.

— Тоже я, — сказал он.

Уна кивнула. Встала, подошла к полке и сняла с неё книгу. Толстую, в потёртой коже, с медными уголками. Положила на стол передо мной и раскрыла.

Внутри были имена. Страница за страницей. Разные почерки, разные чернила — одни свежие, другие выцветшие почти до белизны. Рядом с каждым именем — дата, подпись того, кто вступал, и подпись того, кто за него ручался. Некоторые имена были перечёркнуты одной ровной линией. Их было много. Слишком много.

Одно имя, на последней заполненной странице, было перечёркнуто совсем недавно — чернила ещё блестели. «Дерек Малл». Рядом, в графе поручителя, стояло: «Сорен».

Я посмотрел на Сорена. Он смотрел в сторону, на очаг.

— Кто это? — спросил я.

— Не сегодня, — сказала Уна. Она придвинула чернильницу. — Подмастерье. Жалованья нет. Доля — десятая от контракта, в котором участвуешь. Спишь в кладовой над водой. Кормим, — она посмотрела на меня. — Учю я. Когда сочту нужным и чему сочту нужным. Спорить можешь. Толку не будет.

Она протянула мне перо.

Я смотрел на страницу. На перечёркнутые имена. На то место внизу, где было пусто. В кармане, у самого сердца, лежал договор с синей печатью. Полтора ауреона. Кровля. Сапоги. Орвин в школе.

Я взял перо и написал, криво, большими буквами, разного роста, как молодой ельник: «Тэйн из Тарвена». Рядом Сорен размашисто вывел своё имя. Уна дописала ниже строчку, мелко; я прочёл её вверх ногами: «За гильдмастера — Уна».

Потом закрыла книгу.

— Теперь о деньгах, — сказала Иса, не дав мне выдохнуть. — Шип — четыре ауреона. Подмастерью полагается десятая. Но дрался ты не подмастерьем. Значит, тебе ничего.

— Я ему обещал треть, — сказал Сорен.

— Ты много кому что обещал.

Они смотрели друг на друга через стол, как два кота через забор. Уна вздохнула.

— Десятая. Он теперь подмастерье. А что Сорен обещал сверху, пусть Сорен и отдаёт.

Иса поджала губы и записала. Я пытался сосчитать, сколько это — десятая от четырёх ауреонов. Выходило восемь солов. За одну ночь. Отец за такие деньги валил лес месяц.

* * *

Сорен повёл меня наверх, мимо галереи с дверями. Я насчитал девять. Открыты были две.

— А эти чьи?

— Наших, — Сорен тронул ближнюю ручку, как трогают плечо спящего. — Кто в отъезде.

Кладовая над водой оказалась нишей в стене опоры — узкой, как гроб, но длинной, так что я лёг во весь рост. Там пахло мешковиной и речной сыростью. Вместо окна — бойница с кулак, а за ней, внизу, в темноте, бежала Ярна.

Я лежал и слушал. Реку внизу. Мост наверху. Храп Бо. Скрип пера Исы, которая, кажется, вообще не ложилась. Я посадил одного древоточца на деревянную стойку у изголовья и, не закрывая глаз, чувствовал через него всю опору: живую, тёплую, скрипучую. Людей, которых я не знал. И комнаты, в которых давно никто не ходил. И одну тяжесть внизу, у самой воды, — неподвижную, как пень.

Потом при огарке, который дала Уна, достал книжку Орвина и написал:

«Седьмая Опора. Под мостом. Взяли. Подмастерье. Сорен поручился. Уна — не глава. Держит дом. Глава — Вард, за Серым хребтом. Живы. На стул не садиться. Дорн — молчит. Похлёбка — страшная. Через дуб слышно три пролёта».

Подумал и дописал внизу, отдельно:

«Договор — при мне. Три недели».

Потом задул огарок и уснул. Сразу, как в колодец провалился.

Утром меня разбудил взрыв.

Глава 8

Я слетел со своей ниши раньше, чем понял, что проснулся. Схватил топор, ударился головой о свод, выругался и побежал вниз, туда, откуда тянуло дымом. На этот раз рыжим, с запахом палёного волоса и уксуса.

Внизу была мастерская. Дым уходил в бойницы, и из него проступали столы, заставленные так, что не было видно столешниц: колбы, медные трубки, куски кристаллов от горошины до кулака. А посреди всего этого, на полу, сидел Корр, чёрный от копоти, и счастливо улыбался.

— Рыжий! — сказал он мне. — Ты видел? Когда медь идёт через обезличенный эфир под таким углом, вспышка должна быть зелёной, все три трактата так пишут! А она рыжая! Понимаешь, что это значит?

— Нет.

— И я нет! — Корр засмеялся. — Но это значит, что они все ошибаются!

Я пошёл обратно наверх. На лестнице мне встретился Сорен с кружкой, заспанный и совершенно спокойный.

— Взрыв, — сказал я.

— Среда, — сказал Сорен и зевнул. — По средам он всегда что-нибудь взрывает. По пятницам тоже. Привыкнешь.

* * *

Утром пришли рыбники. Трое, в высоких сапогах и кожаных фартуках, пахнущие так, что даже похлёбка Уны отступила в угол. Старший — крепкий лысый мужик с рукой, покрытой шрамами от чешуи и крючков, — спустился в сухую кладовую, посмотрел на связанного Шипа и долго молчал. Спящего Бо все трое обошли по широкой дуге, как цепного пса.

— Он моего брата на прошлой неделе, — сказал он наконец. — За то, что не заплатил.

Больше он ничего не сказал. Двое его людей вынесли Шипа — тот уже пришёл в себя, но молчал. Я стоял у стены и старался не думать, куда его понесут. Это было не моё дело.

Лысый отсчитал Исе на стол четыре золотых ауреона. Иса проверила каждый: взвесила на ладони, посмотрела на свет, попробовала на зуб. Лысый ждал, не обижаясь.

— Спасибо, — сказал он Уне, уже в дверях. И мне почему-то тоже кивнул.

Иса записала что-то в книгу и сдвинула ко мне восемь серебряных солов. Ровным столбиком.

— Десятая, — сказала она. — Распишись.

Я расписался, так же криво, как вчера в книге имён. Иса посмотрела на подпись, вздохнула и сказала:

— И не думай, что так будет каждый раз, — Она закрыла книгу. — До Шипа был пустой месяц. До этого — два. Мы едим то, что Уна варит, не потому, что она лучше не умеет. Хотя она правда не умеет.

— Я слышу, — произнесла Уна от очага.

— Знаю, — спокойно констатировала Иса.

* * *

Первые дни в Седьмой Опоре я делал то, что умел. То есть работал. В первое же утро я спустился к воде за ведром и едва не улетел в Ярну: третья ступенька снизу прогнила насквозь, а перила, за которые я поймался, держались на одном гвозде.

К полудню я поменял ступеньку. Древоточцы выгрызли гнилое дерево — быстро, чисто, точно по форме, а новую доску я вытесал из обрезка бруса. Потом укрепил перила. Потом наколот дров на три дня вперёд — отцовским топором. Потом натащил воды, подмёл общую комнату и пошёл по галерее смазывать петли.

Одна дверь там была не как все. Проём у неё растесали — вверх на две ладони и вширь на ладонь. В щель было видно, что вместо кровати там висит гамак. На цепях — таких, какими в порту держат якоря.

— Горста, — сказал Сорен, когда я спросил. — Бо про него раз сказал: «Сильный». Для Бо это целая песня.

Соседняя дверь была самая обычная, с медным кольцом. Я пустил жуков по косяку искать гниль, и они её обошли. Все трое, по дуге, как ручей обходит камень. Я вернул их и пустил снова. Снова обошли. Почему — я не понял.

— Нэллы, — сказал Сорен. Потом кивнул вниз, на полку над очагом, где стояла мятая жестяная кружка. — И это Нэллы. Из неё не пьют. Бо однажды налил. Больше не наливает.

— Ты что делаешь? — спросил он, когда я на второй день полез на стремянку чистить от сажи свод над очагом.

— Сажу.

— Зачем?

— Её много.

— Её всегда много. Уна двадцать лет тут варит, и сажа двадцать лет висит.

— Значит, надо почистить.

Сорен смотрел на меня снизу, и лицо у него было странное.

— Тебя кто-нибудь просил?

— Нет.

— Тогда слезай. Пошли на реку, покажу, где рыба клюёт.

Я не слез. Слезу — и стану тем, кем меня назвала Иса: лишним ртом. Я ел за двоих. Уна наливала, не спрашивая, а Иса каждый раз провожала мою миску взглядом, будто записывала в книгу: одна, две, три. Я не мог есть их еду и ничего не делать. Каждая вымытая ступенька была моей миской.

Сорен пожал плечами и ушёл один.

* * *

Доски я нашёл на третий день.

Их было две, одна под другой, у входной двери, там, где их загораживала створка, — обычные аспидные доски, на каких лавочники пишут долги. Я бы их и не заметил, если бы не полез менять петли. На верхней крупно, кривыми буквами кто-то написал: «ЛЕСОРУБ». А ниже шли строчки.

«Иса — неделя. 2 сола».

«Сорен — до зимы. 3 сола».

«Корр — пока не взорвётся. 1 сол».

«Бо —». Дальше было пусто. Вместо ставки стоял рисунок: кривой жук с огромными жвалами. Дорна на доске не было — ни ставки, ни рисунка.

Я посмотрел на петлю у себя в руке.

Ставки. На то, сколько я протяну.

В Тарвене так спорили на новых пастухов у Эшби. Мы, дети, считали это ужасно смешным. Мне было не смешно.

— Нашёл, — сказала Иса у меня за спиной. Она стояла с кружкой и смотрела на доску без всякого стыда. — Мы на всех ставим. На Сорена тоже ставили, когда пришёл. Я проиграла.

— А на неделю — это сколько осталось?

— Четыре дня, — Иса отпила из кружки. — Я редко проигрываю.

— В этот раз проиграете.

— Посмотрим, — сказала она, но в голосе у неё появилось что-то новое. Не тепло, нет. Любопытство. — Что значит жук, спроси у Бо. Бо ничего не объясняет.

Я посмотрел ниже. Нижняя доска была исписана узким ровным почерком Исы. «КТО ГДЕ».

«Дарра — южный тракт, караван, до весны».

«Ло и Лин Фэй — Вельд. Охота».

«Тиммс — в море».

«Мэб — не спрашивай».

— А Мэб где? — спросил я.

— Не спрашивай, — сказала Иса и ушла.

Варда на доске не было. Горста и Нэллы тоже. А в углу верхней, полустёртое, ещё читалось старое: «ТИММС — утонет до осени. Дарра, 1 сол». И ниже, другой рукой: «Не утонул. Плати».

Вечером, когда все легли, я снял с полки книгу имён. Первый лист в ней был отдельный: короткий столбик, одной тяжёлой рукой. «Роан Вард, гильдмастер». Ниже — Горст, Нэлла, Уна, Корр, Иса, Бо, Дорн, Дарра, Ло Фэй, Лин Фэй, Тиммс, Мэб и, свежее, Сорен. Ни одно не зачёркнуто. Зачёркнутые начинались дальше.

Четырнадцать имён. Видел я шестерых.

* * *

Бо заговорил со мной на четвёртый.

До этого он в основном спал. Просыпался, кажется, только на еду и на зов Уны. Сорен объяснил мне, что у Бо почерк такой: он умеет делать себя тяжёлым. Не сильным — тяжёлым. Как свинец, как скала. Когда он становится тяжёлым, его нельзя сдвинуть, а если он упадёт на тебя, то и тебя уже никто не поднимет. «Он раньше дрался на деньги, в ямах за Рыбной заставой, — рассказывал Сорен. — Двадцать боёв — двадцать побед. Он просто вставал и ждал, пока противник устанет его бить. А потом падал на него. На Рыбной заставе до сих пор переходят на другую сторону улицы, когда он идёт». Только держать тяжесть — это как держать бревно на плечах: всё время. Даже когда Бо лёгкий, где-то внутри он её держит, и это съедает его Искру, как огонь дрова. Поэтому он спит. Много.

На четвёртый день вечером я чинил ножку у стола. Бо лежал на своём диване, глядя в потолок. Потом сел, посмотрел на меня и сказал:

— Руку.

Это было первое слово, которое я от него услышал.

— Что?

Бо поставил локоть на бочку и раскрыл ладонь размером с лопату.

Я понял: в Тарвене так мерились на ярмарках.

Я встал на колени по ту сторону бочки. Поставил локоть. Взялся. Его рука была тёплой и твёрдой, как ствол.

— Без этого, — сказал я, — без тяжести. Честно.

Бо чуть кивнул.

Мы начали. Он не давил. Просто держал. Я налёг — рука не сдвинулась. Я налёг всем, чем умел, как наваливаешься на ствол, застрявший в развилке. Рука дрогнула на палец — и вернулась обратно, неторопливо. Я держал. Лицо налилось кровью, в ушах зашумело, почти зажившая ссадина на спине снова заныла. Я держал.

Бо смотрел на меня. Лицо у него было спокойное, как у коровы на лугу.

Потом он положил мою руку. Не рывком — просто опустил, будто бросил на бочку тряпку. И отпустил.

— Крепкий, — сказал он.

Это было второе слово.

Он лёг обратно и закрыл глаза. Я сидел на полу, растирая локоть, и не понимал, радоваться мне или нет. А на следующее утро, проходя мимо доски у двери, увидел, что под рисун-

ком жука на строчке Бо появилась ставка. Мелом, большими детскими буквами: «ВСЕГДА. 5 СОЛОВ».

* * *

Корр поймал меня в тот же вечер, когда я нёс вниз ведро с золой.

— Стой, — Он вынырнул из мастерской, как лис из норы, и схватил меня за рукав. Брови у него уже начали отрастать: над глазами торчала седая щетина, отчего он казался всё время удивлённым. — Дай жука.

— Зачем?

— Посмотреть.

— Вы на него уже смотрели.

— Я смотрел глазами. А мне надо посмотреть по-другому. Дай, не бойся, я не взорву. Не этого.

Я поставил ведро и выпустил ему на ладонь второго. Корр поднёс жука к самому носу и прищурился. И тут глаза у него изменились. Зрачки расползлись во всю радужку, чёрные, как у кошки в темноте, а по краю этой черноты пошёл тонкий цветной ободок — то синий, то золотой, то зелёный, быстро, как рябь на воде.

— Ага, — сказал Корр. — Ага. Ага-а.

— Что?

— Я вижу эфир, мальчик. Цветом. Всегда вижу, только обычно не смотрю, а то голова болит. Кристалл в фонаре — голубой, холодный, обезличенный. Уна — такая, что лучше не смотреть, слишком ярко. Сорен — серебряный, быстрый, как рыба чешуя. Дорн... — ободок у него в глазах на миг потускнел. — У него не цвет. У него пепел. А под пеплом — одна точка. Красная, — он моргнул и сказал, будто самому себе: — Долго не смотри. А ты...

Он поднял на меня свои чёрные глаза с цветным ободком, и мне стало не по себе.

— Ты бурый, — сказал Корр. — Густой. Как смола на спиле. И жук у тебя такой же. Это твоё, — он снова посмотрел на жука. — Нити плотные, это хорошо. Узлы крепкие. А вот нить... — он замолчал.

— Какая нить?

— Которой ты его держишь. От тебя к нему, — Корр провёл пальцем по воздуху от жука к моей груди. — Тонкая. Ровная. И почти ничего по ней не течёт. Капля. Ты держишь его почти даром, — Корр вернул мне жука. Глаза у него медленно стали обычными. — У порождающих на Эннисе так не бывает. У них всё течёт насквозь, как вода через решето. А ты носишь троих с утра до ночи.

— Это плохо?

— Почему все спрашивают, плохо ли? — Корр почесал щетину над глазом. — Это странно. Странное почти никогда не бывает плохим. Оно бывает непонятным, — он вдруг оживился. — Слушай, а если держать его на обезличенном? А если потом развеять — эфир куда денется? А если...

— Корр, — сказала Уна сверху, из общей комнаты.

— Да?

— Нет.

Корр вздохнул, как ребёнок, у которого отобрали игрушку.

— Потом, — шепнул он мне заговорщицки и нырнул обратно в мастерскую.

Я поднял ведро. На ступеньке достал книжку и записал: «Корр видит эфир цветом. Я — бурый. Держу почти даром. У других течёт насквозь. Странное — не плохое».

* * *

Иса проверила меня на пятый день. Своим способом.

Я уже знал её почерк — Сорен рассказал. Иса чувствует ложь. На вкус. Когда кто-то при ней врёт, у неё во рту становится горько, как от полыни. Чем больше ложь, тем горше. Поэтому

все контракты в Седьмой Опоре заключала она, и поэтому никто в Нижнем городе не пытался обсчитать их второй раз.

— Сядь, — сказала она мне вечером, когда все разошлись. — Я задам вопросы. Отвечай.

— А если не захочу?

— Тогда не отвечай. Это тоже ответ.

Я сел.

— Зачем ты здесь?

— Не хочу в батарейки.

— Не горько, — Иса чуть наклонила голову. — Ещё зачем?

Я подумал.

— Хочу узнать, на что способен.

— Не горько. Ещё?

— Хочу, чтобы дома... чтобы у них была кровля. И сапоги. И чтобы Орвин учился.

— Не горько, — она помолчала. — Тебя кто-нибудь послал? Шпиль? Служба?

— Нет.

— Не горько. — Она прищурилась. — Ты что-нибудь от нас скрываешь?

Я открыл рот. И закрыл.

Я не скрывал. Но у меня под рубахой висела янтарная капля. И был чужеземец с квадратной монетой, которого нашли на тропе. И женщина, которая сказала «не отдавай его никому». И смех, от которого у отца до сих пор, через восемнадцать лет, дёргалась щека. Я никому этого не рассказывал. Даже Уне. Просто оно было моё.

— Не знаю, — сказал я честно.

Иса ждала. Потом чуть поморщилась.

— Кисловато, — сказала она. — Не горько. Кисло. Так бывает, когда человек сам не знает, врёт он или нет.

— Это плохо?

— Это нормально. У всех что-то есть, — Иса пододвинула к себе книгу. — Ладно. Живи. Противно, какой ты честный.

— Почему противно?

— Потому что я поставила на неделю, а неделя кончается послезавтра. И я уже вижу, что проиграю два сола.

* * *

Уна взялась за меня на шестой день.

До этого она на меня почти не смотрела. Готовила свою ужасную похлёбку, сидела у очага с трубкой, которую, в отличие от отца, курила всё время. Я думал, она забыла про меня. Про «учу я».

Утром шестого дня она разбудила меня до рассвета, одним толчком в плечо, и сказала: «Вниз. К воде». И ушла.

Я спустился. Она сидела на каменном выступе у подножия опоры, там, где Ярна закручивалась водоворотами вокруг древних свай. Сидела, подобрав под себя ноги, как старуха у очага, только вместо очага была река. Кивнула мне на место рядом.

— Сядь. Закрой глаза.

Я сел. Закрыл.

— Сколько у тебя сейчас?

— Чего?

— Внутри. Под грудиной. Сколько?

Я не понял вопроса. Потом понял. Прислушался к себе. Там было тепло — ровное, как угли, которые догорают за ночь в очаге. Я никогда не думал о нём как о чём-то, что можно измерить.

— Не знаю, — сказал я. — Полно? Почти полно.

— «Почти» — это сколько? Как бадья воды? Как кружка?

— Как... — Я подумал. — Как поленница в начале зимы. Много. Но если сплести ещё двух жуков — будет как в середине.

— Хорошо, — Уна достала трубку и начала её набивать. — Вот так и считай. Каждого жука. Сколько взял, сколько осталось. Как лесоруб считает, сколько дров до весны.

— Зачем?

Уна подняла на меня свои маленькие светлые глаза.

— Сорен рассказал, каким ты был после Шипа. Зелёным. Руки тряслись. А ты ещё и нового жука сплёл, прямо там, на мостовой.

— Да.

— Зачем?

— Чтобы было три.

— Чтобы было три, — повторила Уна. — А если бы там был ещё один Шип? Если бы у тебя внутри не хватило даже встать? — Уна сунула трубку в зубы, чиркнула кремнём, затянулась. Дым пошёл над водой. — Есть такое слово — погасший. Слышал?

— Нет.

— Маги, которые отдали больше, чем у них было. Которые вычерпали Искру ниже дна, — она выпустила дым. — Искра — не колодец, мальчик. Если выбрать колодец до дна, вода набегит снова. А если выбрать Искру ниже дна, там может ничего больше не набежать. Никогда.

Я молчал. Река шумела у ног.

— Живут они потом, погасшие. Ходят, едят, спят. Только внутри у них пусто. Как в доме, из которого всех вынесли, — Уна посмотрела на воду. — Я видела их. Много. Больше, чем хотела.

За спиной скрипнула дверь. Дорн вышел на нижнюю площадку, постоял, глядя на реку, и пошёл вверх по лестнице — к баржам, как каждое утро. Мимо нас он прошёл, не повернув головы. Уна проводила его глазами до самого верха.

— И что мне делать? — спросил я, когда шаги стихли.

— Считать, — она постучала трубкой по камню. — Ты лесоруб. Дерево, которое не считал, падает на тебя. Вот и тут так же.

Мы сидели там до рассвета. Она больше не говорила, только курила. А я сидел с закрытыми глазами, трогал себя изнутри, как трогаешь языком зуб, и учился считать.

* * *

После обеда Сорен снова позвал на реку. На этот раз я пошёл.

Может, из-за того, что сказала Уна. А может, потому, что Сорен в этот раз не спрашивал: сунул мне удочку и пошёл вниз, не оглядываясь.

Мы сидели на выступе под соседней, шестой опорой, куда течение приносило мелкую рыбу. Сорен ловил так же, как дрался: ни одного лишнего движения. Поплавок у него дёргался — и он подсекал раньше, чем я успевал увидеть, что поплавок дёрнулся.

— Как ты сюда попал? — спросил я, когда он вытащил пятую.

Он пожал плечами.

— Как все. Украл у Уны кошелёк, — он насадил червя. — Мне было двенадцать, ей — не знаю сколько, она всегда такая была. Я срезал кошелёк у неё на рыбном рынке и побежал. Я до самой Кожевенной бежал и думал: всё, ушёл. Забежал в подворотню, открыл. А там камни. И записка.

— Какая?

— «Если хочешь есть — Седьмая Опора. Спросить Уну», — Сорен закинул удочку. — Я пришёл. Поел. Похлёбка была ужасная. С тех пор не ушёл.

Он рассказал это так же легко, как про рыбу. Но под этой лёгкостью было что-то, чего он не говорил. Так же, как у меня под рубахой висел янтарь.

— А Дерек? — спросил я. — Малл?

Поплавок у Сорена дёрнулся. Он не подсёк.

— Не сегодня, — сказал он голосом Уны. И улыбнулся, но глаза не улыбались.

Я больше не спрашивал. Мы сидели до вечера. Я поймал три рыбы, он — одиннадцать. Уна сварила из них уху, и эта уха оказалась почти съедобной.

* * *

Вечером я пошёл на почту. Она была на Мосту Весов, в будке у самых перил, и почтарь, сонный старик в шапке с ушами, брал за письмо в Хольдмарк три клиппа, а за деньги в письме — ещё десятую часть сверху.

Я дописал письмо, которое начал в «Кривом Гвозде». Под «Тут сорок мостов» появилось вот что:

«Я в гильдии. Она называется Седьмая Опора. Она живёт внутри моста, правда. Меня взяли подмастерьем. Тут есть Сорен, он за меня поручился, он хороший. Есть Бо, он спит, но сильный. Есть Иса, она считает деньги и не любит меня. Есть Дорн, он молчит. И Уна. Она за старшую, пока главный в отъезде. Варит плохо, но много. Я ем за двоих, потому что жуки едят меня. Жуков у меня три. Мы поймали одного плохого человека, его звали Шип, и мне заплатили восемь солов. Отправляю шесть. Кровлю над близнецами. Или сапоги Орвину. Пусть мама решит. Топор цел. Верну. Тэйн».

Я перечитал. Криво, но всё правда. Иса бы не поморщилась.

Почтарь пересчитал монеты, запечатал их вместе с письмом и бросил в мешок: «Недели через три дойдёт, если лёд не встанет».

Когда я вернулся в опору, Уна сидела за столом с Исой над какой-то бумагой. Сорен точил нож у очага. Бо спал. Корр гремел чем-то внизу. Дорн сидел на нижней площадке, у сваи, и смотрел на воду.

Уна подняла голову.

— Завтра — работа, — сказала она. — Склад на Дёгтевой пристани. Пойдёшь с Бо и Сореном.

— Я?

— Ты, — она вернулась к бумаге. — Жуков возьми.

Я пошёл к своей нише. У двери остановился и посмотрел на доску. Неделя, на которую ставила Иса, кончалась завтра.

Кто-то уже стёр её строчку. Мелом, поверх, аккуратными злыми буквами было написано: «Иса — две недели. 3 сола».

Глава 9

Дёгтевой пристань называли за дело. Здесь, в самом низу Нижнего города, где Ярна поворачивала и замедлялась, стояли склады смолокуров и бочаров, и над всем этим висел запах — густой, чёрный, такой плотный, что его, казалось, можно было резать ножом и мазать на хлеб. Мне он понравился сразу. Так пахло у нас в Тарвене, когда отец просмаливал днище лодки.

Склад стоял у самой воды, на сваях. Длинный, дощатый, старый, с просевшей крышей и широкими воротами со стороны улицы. Со стороны реки ворот не было — только глухая стена, а под ней, между сваями, плескалась чёрная вода.

Хозяйка встретила нас у ворот. Звали её Грета Пайк, и была она такая же, как её склад: широкая, просмолённая и основательная. Руки у неё были чёрные до локтей, и, по-моему, отмыть их было уже невозможно.

— Третий месяц, — сказала она, не здороваясь. — Каждую неделю. То бочка, то две. Бочка дёгтя — это двенадцать солов, между прочим. А на той неделе — ящик кристаллов. Пустых, для наполнения, я их на заказ везла из Вельда. Три ауреона ящик.

— Как пропадают? — спросил Сорен.

— А как хочешь, — Грета развела чёрными руками. — Вечером есть. Утром нет. Ворота заперты. Замок цел. Сторож всю ночь у ворот, клянётся, что глаз не сомкнул. Стража приходила, посмотрела, сказала — ведьма, — она сплюнула. — Ведьма! Ведьма бочки не таскает. Ведьма бы весь склад унесла.

— Гильдию звали? — спросил Сорен.

— «Ржавых». Два месяца назад. Пришли, три ночи сидели, ничего не увидели, взяли деньги и ушли, — Грета посмотрела на нас, на меня, на Бо, который стоял сзади, заслоняя половину улицы. — Вы подешевле. Потому и позвала. Ауреон. Если найдёте.

— Найдём, — сказал Сорен.

Грета посмотрела на него скептически. Потом на меня. Потом, дольше, на Бо. На Бо смотрели и двое грузчиков, катавших бочки у соседнего склада. Когда он повернул к ним голову, они как-то сразу нашли себе дело по ту сторону бочек.

— Этот хоть не храпит? — спросила она.

— Храпит, — честно сказал Сорен. — Но не на работе.

* * *

Внутри склад был одним длинным помещением, заставленным бочками. Они стояли рядами, в три яруса, до самой крыши, и между рядами оставались узкие проходы, как тропинки в ельнике. Пол был дощатый, толстый, весь в чёрных пятнах дёгтя. Сквозь щели в полу пробивался тусклый свет от воды внизу и тянуло речной сыростью.

Сорен обошёл склад дважды. Медленно, заглядывая в каждый угол, проводя пальцами по стенам, по доскам. Бо не ходил — он встал у ворот и так и стоял, скрестив руки, как ещё одна свая. Я ходил за Сореном и смотрел, как он смотрит.

— Ничего, — сказал он наконец. — Стены целые. Крыша целая. Окон нет. Ворота на замке, ключ у Греты и у сторожа.

— Сторож? — спросил я.

— Первое, что Ржавые проверили. Три ночи за ним следили. Сидит, не спит. Трубку курит.

— А пол?

Сорен посмотрел на меня.

— А что пол?

— Склад на сваях. Под полом вода. Если подплыть на лодке...

— Думали. Ржавые тоже думали. Пол целый. Ни люка, ни щели шире пальца. Они простучали каждую доску, — Сорен пнул доску носком сапога. Доска глухо стукнула. — Да ты сам посмотри.

Я не стал смотреть. Я присел на корточки и выпустил первого древоточца на пол.

Он сполз с моей ладони, пробежал по доске, нашёл щель, забрался в неё наполовину и затаих. Я закрыл глаза.

Склад пришёл ко мне целиком, как всё деревянное.

Не так, как опора с её дубом, — там было старое, тяжёлое, спокойное дерево, которое триста лет стояло и никуда не торопилось. Здесь дерево было молодое, сосновое, дешёвое, пропитанное дёгтем, и оно было... громче. Каждая доска скрипела по-своему. Я слышал, как Сорен переминается с ноги на ногу. Слышал Бо у ворот — он стоял так неподвижно, что его почти не было, только глубоко, внизу, в сваях под ним, доски чуть прогибались, как под бочкой. Слышал бочки: они стояли на полу и давили на него, каждая своим весом, как люди, которые сидят на лавке и опираются на неё. Я шёл вдоль досок — не ногами, а этим новым чувством, — как пальцами по стене в темноте.

Потом я нашёл.

В дальнем углу, у речной стены, под третьим от края рядом бочек, доски лежали иначе. Не прогибались от веса бочек, как везде. Там, под бочками, было что-то пустое. Не пустота, как под полом, над водой. А прямоугольник. Ровный, как крышка. Доски вокруг него держались друг за друга, как пальцы в сцепленных руках, а эти — нет. Эти держались сами по себе, и держались на чём-то маленьком и твёрдом. Не на дереве. На железе.

Петли.

Я открыл глаза. Меня замутило, но не сильно. Я уже привыкал.

— В углу, — сказал я. — Под бочками. Люк. На петлях. Снизу.

Сорен посмотрел туда, куда я показал. Потом на меня.

— Там три яруса бочек, — сказал он. — Каждая весит как хорошая корова. Ржавые их не двигали?

— Не знаю.

— Не двигали. Никто не двигает бочки весом с корову, чтобы простучать пол под ними, — Сорен медленно улыбнулся. — Бо.

Бо отлепился от ворот.

* * *

Мы не стали открывать люк. Сорен сказал: если откроем, спугнём. Воры поймут, что их нашли, и больше не придут. А Грете нужны не бочки — Грете нужны воры. «Ауреон — за воров, — сказал он. — За люк нам дадут в лучшем случае спасибо».

Поэтому мы ждали ночи.

Грета, узнав про люк, побелела так, что это было видно даже под дёгтем. Потом покраснела. Потом сказала, что сама пойдёт вниз с кочергой и встретит их там лично. Сорен уговаривал её полчаса. Уговорил только тогда, когда пообещал, что, если воры уйдут, мы вернём задаток.

— Если уйдут, — сказала Грета. — Я вас сама утоплю.

Сторожу мы ничего не сказали. Сорен так решил. «Если это он, пусть думает, что мы ничего не нашли. Если не он — ему и знать не надо».

Под вечер Грета принесла нам поесть — сама, в корзине, прикрытой чёрной от дёгтя тряпкой. Копчёная рыба, круглый хлеб, кувшин пива. Поставила корзину на бочку, посмотрела, как Бо разом отламывает половину хлеба, и хмыкнула.

— Ешьте. Голодный сторож хуже сытого вора.

— Спасибо, — сказал я. — Мы бы и так...

— Бери, пока дают, — сказал Сорен, не поднимая головы от рыбы. — Первое правило гильдии.

— У вас правила?

— У нас одно. Бери, пока дают, — он подумал. — И второе: не спорь с Уной. Но это скорее закон природы.

Грета засмеялась — неожиданно, коротко, как ворона каркнула — и ушла. Я ел рыбу и думал, что за последние десять дней мне дали больше, чем за всю жизнь в Тарвене. И что я ещё не научился это брать.

Мы спрятались внутри, между бочками, в том самом проходе, откуда был виден угол. Бо сел на пол у стены и сразу стал похож на ещё одну бочку. Сорен присел за бочкой напротив, с ножом наготове, рукоятью вперёд, как тогда. А я лёг на пол, прижавшись к доскам щекой, и выпустил всех трёх жуков. Одного посадил у люка, в щель. Второго — у ворот, со стороны улицы, где сидел сторож. Третьего оставил рядом с собой, про запас.

И стал слушать.

Это было долго. Час, другой. Склад жил своей ночной жизнью: скрипел, оседал, вздыхал. Где-то под полом плескалась вода, и сваи отзывались на каждую волну тихим, почти неслышным гудением. У ворот, снаружи, сторож ходил взад-вперёд — пять шагов туда, пять обратно — потом сел на скамью, и скамья скрипнула. Он чиркнул кремнём. Затянулся. Я чувствовал через жука, как он постукивает трубкой о доску.

Держать двоих сразу — у люка и у ворот — я не мог. Я переключался: туда, обратно, туда. Каждый раз меня встряхивало, будто я поворачивал голову слишком быстро. Каждый раз немного мутило. Держать жуков мне почти ничего не стоило, Корр был прав. А вот слушать через них стоило. Каждый час слушания съедал меня, как пила съедает бревно: понемногу, но без остановки. Уна сказала считать. Я считал. Поленница в начале зимы. Потом — поленница в середине зимы. Потом — в конце.

Я не сказал Сорену. Он бы велел отдохнуть. А я не хотел отдыхать. Я хотел найти их.

На третий час под полом стукнуло.

Не волна. Что-то твёрдое, деревянное, стукнулось о сваю. Раз. Потом ещё раз, мягче, будто его придержали рукой. Лодка. Я почувствовал её сразу: она легла бортом к свае, и свая чуть дрогнула.

— Лодка, — выдохнул я. Одними губами. — Под нами.

Сорен кивнул. Не обернулся. Я видел, как напряглась его спина.

Под люком что-то зашевелилось. Кто-то встал в лодке во весь рост — я почувствовал, как качнулось, — и поднял руки. Коснулся люка снизу. Люк на петлях дрогнул.

А у ворот сторож перестал стучать трубкой.

Я метнулся туда — в жука у ворот. Сторож сидел на скамье. Неподвижно. Не так, как сидят, когда задремали — тогда человек обмякает, и скамья под ним оседает иначе. Он сидел прямо. Напряжённо. Как человек, который слушает. Как я.

Он знал.

— Сторож не спит, — прошептал я. — Ждёт. Он с ними.

Сорен беззвучно выругался.

Люк поднялся. Медленно, осторожно, на ладонь, на две. Бочки на нём качнулись — и я понял, как они это делали: бочки на люке стояли не на полу, а на крышке. Когда люк поднимали, крайняя бочка съезжала прямо вниз, в лодку. Не надо было таскать. Надо было только поймать.

А потом погас свет.

Не фонарь — фонаря у нас не было. Погасла та слабая полоска лунного света, что пробивалась сквозь щели в стене. Погас серый отсвет от воды под полом. Весь склад, и без того

тёмный, провалился в черноту — такую полную, что я перестал видеть собственную руку у лица. Как будто кто-то накрыл нас мешком.

— Маг, — сказал Сорен в темноте. Голос у него впервые звучал растерянно. — Гасит свет. Я не вижу...

Он не видел. Его почерку нужны были глаза: увидеть движение, чтобы опередить его. В такой темноте ему нечего было видеть.

А мне — не нужно было.

Я закрыл глаза. В темноте это ничего не меняло, но так было привычнее. И склад пришёл ко мне через доски — весь, целиком, как днём.

— Двое в лодке, — сказал я. Тихо, быстро, как отец говорил «право» и «лево», когда мы вдвоём тащили бревно через бурелом. — Один лезет в люк. Уже по пояс. Он маленький, лёгкий. Второй держит лодку у сваи. Третий — это сторож — открывает ворота. Сейчас войдёт.

— Где маг? — Сорен.

— Не знаю, — я метался по доскам. Лёгкий, в люке. Тяжёлый в лодке. Сторож у ворот. — В лодке. Который держит. Он не двигается, только держит — и у него... — я потянулся к нему через сваю, через лодку, через дерево, насколько мог. Не жуком, дальше, на самом краю. Там было тепло. Чужое. Холодноватое, как тень в жаркий полдень. — У него внутри копится. Это он.

— Бо, — сказал Сорен. — Люк. Прямо от тебя — шесть шагов, чуть левее.

Бо встал. Я почувствовал это: пол под ним вздохнул. А потом Бо стал тяжёлым.

Это было как если бы на склад упала гора. Доски под ним прогнулись до земли, закрипели, застонали все разом, на весь склад. Бочки в рядах качнулись. Бо шагнул — шесть шагов, чуть левее, как сказал Сорен, — и каждый шаг бил в пол, как молот в наковальню. Человек, вылезавший из люка, закричал. Бо упал на люк сверху. Не прыгнул — просто упал, всей своей горой.

Люк захлопнулся. С человеком наполовину внутри. Тот завопил ещё громче, но не от боли, наверное, — от ужаса, потому что оказался зажат между досками и чем-то, что весило, как каменный дом.

— Сорен! Ворота! Сторож! — крикнул я. — Прямо от тебя, двадцать шагов, вдоль стены!

Сорен рванул в темноту. Я слышал через пол, как он бежит — легко, почти не касаясь досок. Слышал, как у ворот сторож дёрнулся, развернулся, побежал на улицу. Слышал, как Сорен его догнал: два тела упали на доски у порога, одно на другое.

А внизу, под полом, лодка отвалила от сваи.

Второй вор, маг, понял, что всё кончено. Он оттолкнулся от сваи и схватил весло. Я чувствовал, как лодка поворачивает, как весло входит в воду — раз, другой. Ещё несколько гребков — и он выйдет из-под склада на открытую воду, в темноту, и никто его больше не найдёт.

Верёвку, которой лодка была привязана к свае, он уже сбросил. Я бросил на неё жука — того, что сидел у люка. Жук прыгнул, вцепился... и ничего. Верёвка не дерево. Жвалы скользили по пеньке, как по мокрому камню. Я совсем забыл.

Весло. Весло — дерево.

Третий жук сидел у меня под рукой, про запас. Я сунул его в щель в полу — прямо над лодкой — и отпустил. Он упал. Я почувствовал, как он ударился о борт, соскользнул, зацепился лапками за мокрое дерево. Весло ходило рядом: вверх, в воду, вверх, в воду. Жук прыгнул. Промаяхнулся. Прыгнул снова — и вцепился в весло у самой уключины, там, где оно было тоньше всего.

«Грызи».

Двадцать вдохов на ветку в два пальца. Весло было толще. Но весло гнули. Каждый гребок гнул его в уключине, как ветку на ветру, и жвалы входили в древесину не только своей силой, но и силой того, кто грёб.

Три гребка. Четыре. На пятом весло хрустнуло и переломилось. Лодку развернуло боком к течению, и течение прижало её обратно к сваям.

А сверху, из люка, упал Бо.

Он, видно, решил, что человек под ним уже никуда не денется, встал с люка, открыл его и шагнул вниз. Просто шагнул, как шагают с крыльца. И, по-моему, забыл, что он всё ещё тяжёлый.

Лодку не расколело. Её вдавило в воду, как пробку. Раздался всплеск, треск, крик. Вода внизу забурилась. И тут же свет вернулся — сразу, будто мешок сдёрнули. Полоски лунного света в щелях, серый отсвет от воды, звёзды над воротами.

Маг, который держал темноту, барахтался в Ярне у свай, отплёвываясь и держась за обломок лодки. Бо стоял рядом, по грудь в воде. Он снова стал лёгким — я это почувствовал через сваю — и теперь спокойно держал мага за шиворот одной рукой, а другой — половину лодки.

— Мокро, — сказал Бо. Это было третье слово, которое я от него услышал.

* * *

Магом оказался парень лет двадцати, тощий, с оттопыренными ушами. Эннис, как я. Почерк у него был — Восприятие, так сказал Сорен. Он умел гасить чужой взгляд: не свет, а то, как глаза его видят. Ненадолго, на несколько десятков шагов, и очень дорого для себя: когда его вытащили на пристань, он был серый, трясся и не мог встать.

— Наполнителем был, — сказал Сорен, присев перед ним на корточки. — Да? Ушёл из Службы?

Парень кивнул, стуча зубами.

— Почему?

— Скучно, — прошептал он.

Сорен вздохнул и поднялся. Ничего не сказал. Но я видел его лицо, и мне показалось, что ему было жаль этого парня. Немножко.

Маленький вор, которого зажалю люком, оказался мальчишкой лет двенадцати, с оцарапанными ногами и такими злыми глазами, что Грета, прибежавшая на шум, отшатнулась. Сторож вырываться не пробовал. Когда его выволокли на свет и он разглядел, кто сидит у него на спине, он обмяк, как пустой мешок. Сорена с Кожевенной на пристанях знали. Про него говорили, что нож он держит рукоятью вперёд, только пока не рассердится. Сторож всё повторял, что его заставили. Грета слушать не стала. Она подошла к нему, посмотрела сверху вниз и сказала только одно:

— Двенадцать лет.

Сторож замолчал.

Утром пришла стража. Старший, усатый, с фонарём на палке, посмотрел на связанных, на лодку, вдавленную в ил у свай, потом на Бо — и спросил, что тут было, у Сорена, а не у Греты. Выслушал, кивнул, и воров увели. Уходя, он обошёл Бо по широкой дуге, как обходят цепного пса, который вроде бы спит. Грета заплатила Сорену ауреон — прямо на пристани, отсчитав из кошелька на поясе. Потом, подумав, достала ещё два сола и сунула Бо.

— За лодку, — сказала она. — Утопил красиво.

Бо спрятал монеты и ничего не сказал. Три слова за неделю, видно, были его пределом.

* * *

Мы шли обратно вдоль реки, в сером рассвете. Сорен насвистывал. Бо шёл, оставляя за собой мокрый след. Я шёл между ними и старался не показывать, как мне плохо.

А мне было плохо. Голова болела так, будто в неё всю ночь стучали обухом. Под грудиной было пусто и холодно — не поленица в конце зимы, а голый пол, на котором валяется щепка.

Руки тряслись. Есть хотелось так, что сводило челюсти. Жука, который грыз весло, развеяло, когда Бо проломил лодку. Я почувствовал рывок, но он был слабый, далёкий — я уже почти ничего не чувствовал. Сплести нового было нечем.

— Ты чего зелёный? — спросил Сорен, покосившись на меня.

— Нормально.

— Правда?

— Нормально, — повторил я.

Сорен посмотрел на меня ещё раз, дольше, и ничего не сказал. Может, поверил. Может, нет. Иса бы не поверила. Иса бы поморщилась.

— Ты знаешь, что ты сделал? — сказал он через какое-то время. — Там, в темноте?

— Сказал, где они.

— Ты нас вёл. Меня и Бо. В полной темноте, через склад, в котором не видно собственной руки. Как слепых, — Сорен покачал головой. — Жук слышит сквозь пол. Ты понимаешь, сколько контрактов в этом городе — про склады, подвалы, двери, стены? Про то, чтобы найти, кто где стоит, не заходя внутрь?

Я не понимал. Я думал о пустоте под грудиной и о том, что до опоры ещё идти и идти.

— Уна должна знать, — сказал Сорен.

— Хорошо, — сказал Бо.

Я чуть не споткнулся. Сорен тоже. Мы оба уставились на Бо. Бо шёл, глядя прямо перед собой, мокрый, огромный, спокойный.

Четвёртое слово.

* * *

Уна выслушала Сорена молча, сидя у очага с трубкой. Потом посмотрела на меня.

Я сидел за столом над второй миской похлёбки и заставлял себя есть медленно. Руки ещё немного тряслись, и ложка стучала о край. Я надеялся, что никто не слышит.

Уна смотрела долго. Не на ложку. На меня.

— Сколько у тебя сейчас? — спросила она.

— Нормально, — сказал я.

— Я не спросила, как ты. Я спросила, сколько.

Я промолчал. Уна затянулась и выпустила дым.

— Сколько жуков держишь?

— Двоих.

— Покажи.

Я посмотрел на свою руку. Два древоточца сидели на запястье — и были такие тусклые, что сквозь них просвечивала кожа. Я держал их на том, что во мне осталось, а осталось почти ничего. Я даже не заметил.

Уна ничего не сказала про это. Она вынула трубку из рта, постучала ею о колено и сказала совсем другое:

— Через три дня — Служба Наполнения.

Я поднял голову.

— Контракт, — сказала Уна. — Подвалы под Истмарским отделением. Там крысы. — Она произнесла это слово так, как отец говорил «вдова». — Большой контракт. Два ауреона. Иса уже подписала.

Служба Наполнения. Длинный светлый зал, кристаллы на столах, люди в серых куртках. Договор с синей печатью у меня за пазухой. Две недели осталось.

— Пойду, — сказал я.

— Знаю, что пойдёшь, — сказала Уна. — Поэтому говорю за три дня. Эти три дня ты спишь. Ешь. И считаешь, — она снова сунула трубку в зубы. — Если через три дня скажешь мне «нормально» вместо «сколько», останешься дома.

Она встала и ушла наверх.

Я сидел над похлёбкой. Пустота под грудиной медленно заполнялась — горячим, солёным, ужасным. Как поленница, в которую подбрасывают по одному полону.

«Нормально», — подумал я. И сам почувствовал, как это горчит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.